

Часть I. ЛИЧНОСТЬ ИСТОРИКА: СТАНОВЛЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО И МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ

А. В. Антощенко (Петрозаводский ГУ)

П. Г. Виноградов: первая встреча с английскими университетами

Становление Павла Гавриловича Виноградова (1854-1925) как историка происходило во время обучения в Московском университете и заграничных командировок, в ходе которых он собирал материал для своих магистерской и докторской диссертаций. Первое знакомство с Англией состоялось в 1883 г. в ходе полуторагодовой работы в архивах и библиотеках страны. К этому времени у русского историка уже был продолжительный опыт учебы и исследований в Германии, где он провел в Берлинском и Боннском университетах 1875-76 ак. год, и в Италии, в которой он изучал архивные материалы в 1878 г. Это давало возможность для сравнения и выявления особенностей университетской и научной жизни на «туманном Альбионе», где П.Г. Виноградов работал в Государственном архиве и Британском музее Лондона, а также в библиотеках Оксфордского и Кембриджского университетов. Помимо этого П.Г. Виноградов посетил частную библиотеку Т. Филиппа в Челтенхеме, а также имения Ф. Сибомы в Гитчине и Э. Фримена в Сомерсетшире. Восприятие Англии и, особенно, ее университетской жизни наиболее полно отразилось в многочисленных письмах П.Г. Виноградова родным, хранящихся в архиве МГУ (Ф. 213), и в обобщенном виде выразилось в его статье в «Вечернем обозрении» (Vinogradoff P. Oxford and Cambridge through Russian spectacles // Collected Papers of Paul Vinogradoff. NY, 1995. Vol. 1. P. 275-285).

Первое, что бросилось в глаза П.Г. Виноградову даже при беглом знакомстве с университетской жизнью, было богатство университетов, которое порой оборачивалась, как ему представлялось, расточительностью средств из-за отсутствия четкой систематизации и централизации в организации рождавшихся и развивавшихся исторически колледжей, составлявших университеты в Оксфорде и Кембридже. В отличие от централизованных континентальных университетов каждый колледж Оксфорда или Кембриджа стремился превратиться в «полный маленький университет».

Среди характерных особенностей П.Г. Виноградов отметил материальный недостаток преподавателей и студентов. Даже начальная оплата английских профессоров и тьюторов намного превышала жа-

лование их немецких или российских коллег, имея тенденцию к росту по мере их движения по ступеням карьеры и обеспечивая благоприятные материальные условия для работы. Студенты же Оксфорда, по его оценкам, могли позволить себе расходовать на свое содержание в 2-3 раза больше по сравнению с их континентальными *commilitones*. Условия жизни английских студентов, в которых «русский гость» имел возможность провести несколько дней в одном из студенческих общежитий Кембриджа, были намного комфортабельнее.

Однако за этими вызывающими у англичан чувство удовлетворения чертами русский историк подметил качество, которое легко превращало это казалось бы оправданное чувство в самодовольство. Таковым был аристократизм университетского образования, опирающийся на классическую традицию изучения «свободных искусств». Следование ей обуславливало, во-первых, ограниченность доступности высшего образования, что противоречило главной тенденции современной жизни – ее демократизации, а, во-вторых, разьединенность университетского («академического») и профессионального образования, равно вредную для того и другого. Академизм, основанный на классических традициях образования, был лишен, по мнению П.Г. Виноградова, практичности, оторван от жизни, сосредоточен преимущественно на формальной стороне, а не на содержании изучаемых предметов. В свою очередь при таком положении дел профессиональное образование становилось приземленным, не одухотворенным научным и философским подходом к обучению. К этому добавлялось отсутствие в университетах систематичности лекций и их элементарный уровень, а также недостаток исследовательской направленности в университетском образовании («научной школы»), что сказывалось во всем: подборе литературы в библиотеках, формах организации занятий студентов, когда главное внимание уделялось самостоятельному знакомству с литературой по предмету, наконец, в слабости критического подхода к изучаемому материалу. Одним из возможных способов устранения замеченных недостатков П.Г. Виноградов, прошедший «школу» семинарской подготовки у В.И. Герье в Московском университете, а затем у Т. Моммзена в Берлинском, считал введение «семинариев» по гуманитарным дисциплинам.

Таким образом, система университетского образования в Англии представилась П.Г. Виноградову в ходе первой встречи с ней (после обстоятельного знакомства с континентальной, прежде всего – германской) далекой от того идеального образца, который рисует воображение некоторых исследователей его жизни и творчества (Ср.: Малинов А.В. Павел Гаврилович Виноградов: Социально-историческая и методологическая концепция. СПб., 2005. С. 27).

Людвиг Квидде как историк

Имя выдающегося немецкого пацифиста, лауреата Нобелевской премии мира (1927) Людвиг Квидде (1858-1941) мало кому знакомо в России. Тем более неизвестным остается то обстоятельство, что он получил историческое образование и начинал свою профессиональную деятельность как перспективный медиовист, а также создатель и редактор «Немецкого журнала исторической науки». По мнению авторитетного специалиста по истории немецкого пацифизма К. Холя, именно опыт историка, наряду с другими социальными и личными факторами, сыграл решающую роль в формировании оппозиции Квидде государству Вильгельма II и в переходе к активной пацифистской деятельности. Не претендуя на широкие обобщения, мы, тем не менее, на этом примере можем судить, в какой степени маркеры образования и профессии определяли гражданскую позицию и политическую активность в вильгельминской Германии, и также попытаемся определить вклад Л. Квидде в развитие исторической науки.

Людвиг Квидде родился 28 марта 1858 г. и был старшим сыном в семье зажиточного торговца в Бремене. С 1869 по 1876 г. он учился в известной своими гуманистическими традициями старейшей (основана в 1528 г.) бременской мужской гимназии. С 1877 г. Квидде изучал историю, философию и политэкономии в университетах Страсбурга и Геттингена, где среди его профессоров был ученик Л. фон Ранке, известный специалист по истории Германии позднего средневековья Ю. Вейцекер. Под его руководством Квидде подготовил и в 1881 г. защитил диссертацию на тему «Король Сигизмунд и Германская империя с 1410 по 1419 гг.», посвященную роли монарха на Констанцском соборе. За эту работу Квидде была присуждена докторская степень. Вскоре по предложению Вейцекера он был привлечен к работе по изданию актов рейхстагов Священной римской империи германской нации. Проект курировала историческая комиссия Баварской академии наук. Квидде готовил к публикации документы так называемой «старшей серии» (1376-1485 гг.) и приобрел в ходе этих занятий достойную профессиональную репутацию. В 1885 г. после смерти отца и получения обширного наследства он отказался от намерения хабилитации и от претензии на занятие университетской кафедры. В 1887 г. Квидде был избран внештатным членом исторической комиссии Баварской академии наук. В 1888 г. он основал и до 1895 г. редактировал «Немецкий журнал исторической науки». Журнал был посвящен преимущественно проблемам источниковедения германской истории и выходил нерегулярно. Всего увидели свет

двенадцать выпусков. Осенью 1889 г. после смерти Вейцекера Квидде стал ответственным редактором издания актов рейхстага, но поработал на этом посту меньше года. Осенью 1890 г. он получил звание профессора и был назначен ответственным секретарем прусского исторического института в Риме. Однако уже в 1892 г. Квидде поддал прошение об отставке и вернулся в Мюнхен, где был избран действительным членом Баварской академии наук по классу истории. Коллеги ценили его как видного специалиста в области истории старого рейха эпохи позднего средневековья.

В то же время самому Квидде стали явно тесны рамки сугубо профессиональной самореализации. Он стал одним из первых членов только что основанного Немецкого общества мира, где вскоре выдвинулся на руководящие позиции. В 1893 г. он вступил в Немецкую народную партию. Основанная еще в 1868 г., она имела оппозиционный леволиберальный и региональный характер (действовала преимущественно в землях южной Германии). Ее антипруская, антимилиитаристская, парламентская, демократическая программа очевидно в наибольшей степени отвечала личным политическим установкам Квидде. Одним из первых проявлений его оппозиционности стал поначалу анонимный памфлет «Милитаризм в современной германской империи. Обвинение немецкого историка». Поначалу Квидде пытался сочетать политическую и академическую активность. Он стал инициатором и организатором первого съезда немецких историков, который состоялся в 1893 г. в Мюнхене. Тем самым была заложена традиция общенациональных исторических форумов, продолжающаяся по сей день (48-й состоялся в 2010 г. в Берлине). Однако уже в ходе следующих съездов – 1894 г. в Лейпциге и 1895 г. во Франкфурте-на-Майне – проявились разногласия между Квидде и его коллегами по цеху, обусловленные различием в политических позициях. Большинство немецких историков в духе малогерманской школы сохраняло верность принципам начальственного государства Гогенцоллернов.

Окончательный выбор между деятельностью профессионально-го историка и профессионального оппозиционного политика и публициста для Квидде оказался связан с выходом его работы, которая принесла ему общегерманскую известность. Весной 1894 г. он опубликовал книгу под названием «Калигула: исследование о безумии римских кесарей». Под внешними признаками академического труда (обилие латинизмов и ссылок на античных авторов) современники без труда узнали острую сатиру на кайзера Вильгельма II. «Исторический» рассказ о непредсказуемом императоре, время правления которого было отмечено упадком и декадансом, представлял почти неприкрытую критику политической жизни в Германии вильгельминской эпохи. Книга выдержала 30 переизданий и стала самым успешным образцом памфлетной литературы своего времени. Пропрavitельственная «Новая прусская газета», известная как «Кройццай-

тунг», развернула кампанию против Квидде, обвиняя его в оскорблении величества. Официальные власти не могли поддержать эту инициативу, иначе они вынуждены были признать, что под характеристику Калигулы действительно попадает Вильгельм II. Однако чуть позже, когда Квидде стал жестко критиковать как «смехотворный и политически беспардонный» замысел чеканки памятной медали в честь «кайзера Вильгельма Великого», суд приговорил его к трехмесячному заключению. Он был лишен звания профессора, а из-за бойкота со стороны большинства историков вынужден прекратить выпуск «Немецкого журнала исторической науки». После всего случившегося Квидде в историческую профессию не вернулся.

А. П. Беликов (Ставропольский ГУ)

Полибий и вызовы его времени: творчество, модель поведения, восприятие потомками

Как творчество, так и судьба Полибия во многом уникальны. Он жил в очень сложное и переломное для Эллады время, испытал взлеты и падения, лично стал участником многих важнейших исторических событий. Если бы не те вызовы времени, которые выпали грекам этого периода, он мог бы остаться просто благополучным ахейским аристократом. Возможно, он стал бы историком, но, очевидно, менее известным и оказавшим меньшее влияние на все последующее историописание.

К середине II в. до н.э. к извечным проблемам Греции – междоусобицам, попыткам Македонии установить свою гегемонию, социальным проблемам – добавился и внешнеполитический фактор. Рим, утвердившийся в Иллирии, тоже стремился к господству над южными Балканами. Молодость будущего историка совпала с политикой лавирования, проводимой Ахейским союзом: сохранять свой суверенитет, не раздражая римлян, и не слишком портить отношения с Македонией. Несомненно, это повлияло на Полибия, способствуя выработке таких полезных качеств, пригодившихся ему впоследствии, как осторожность, умение учитывать обстоятельства, пронизательность, гибкость.

После разгрома Македонии в 168 г. до н.э. сильные союзники в Греции римскому сенату уже стали не нужны. В результате Рим взял курс на всемерное ослабление и подавление бывших «друзей». Используя, в том числе, и своих «агентов влияния» внутри Ахейского союза. Полибий, к тому времени занимавший высокий пост гиппарха, наблюдал за закатом силы своей федерации и утратой независимости Греции. В 167 г. до н.э. Полибий вместе с тысячей предводителей Ахейского союза был интернирован в Рим (Polyb. XXX.13.9; Liv. XLV.31.9; Paus. VII.10.7).

Только через семнадцать лет почти 300 уцелевших изгнанников сумели вернуться домой по разрешению сената. Все остальные умерли на чужбине от болезней и тоски по близким, либо поплатились жизнью за неудачные попытки бежать из Италии (См.: Paus. VII.10.12). Такая же печальная судьба могла ожидать и Полибия, однако его спасли... хорошее образование и любовь к книгам! Он познакомился с представителем римской правящей верхушки – Сципионом Младшим, покорил его своей образованностью и сумел стать другом, советчиком молодого аристократа. И даже вошел в «кружок Сципиона» (Сic. De ger. I.15;34.) – неформальное объединение прогрессивно мыслящих римских интеллектуалов.

Широкий круг общения, достойные собеседники, свобода перемещения по Италии и за ее пределами – в Испанию и Карфаген, куда он сопровождал на войну своего друга, давали обильную пищу для размышлений. А главное, Полибий, как мыслящий человек, очевидно, пытался понять, в чем причины упадка его родины и возвышения Рима. Для этого, прежде всего, надо было понять самих римлян. И ему это удалось.

Вероятно, тогда же у него зародился замысел написания исторического труда, главной целью которого было показать, почему и как столь значительная часть ойкумены оказалась под властью Рима (Polyb. VI.12.3.). Для осуществления такой задачи подходил именно и только принцип «всеобщей» истории, показывающей, как переплетаются судьбы народов. А с учетом политического опыта автора, это должно было стать еще и чисто прагматическим сочинением, призванным дать полезные знания государственным деятелям и полководцам. Безусловно, сам Полибий был человеком серьезным и ответственным, поэтому и к созданию своего труда он подошел так же основательно: изучал документы, штудировал работы предшественников, расспрашивал очевидцев и участников событий. Так оформился его метод исследования, близкий к установкам Фукидида.

Полагаю, в глубине души Полибий продолжал считать римлян варварами, да и не могло быть иначе, ибо любой, кто не эллин, мог быть только варваром. Разумеется, он не афишировал такое свое восприятие гордых квиритов. Оставаясь в глубине души ахейским и эллинским патриотом, он вынужден был примириться с неизбежным: время Эллады ушло, и теперь, ради самосохранения, ей придется налаживать симбиоз с Римом. Это и определило модель поведения ахейского историка.

Общение и даже дружба Полибия с римлянами – это осознанный и объективный выбор, но отнюдь не стремление выжить во вражеской среде ценой предательства или низкопоклонства. Всегда и везде, где только это было возможно, он старался помочь своим соплеменникам, чему сохранилось несколько свидетельств в источниках. Помогая римлянам обустроить покоренную ими Грецию, он пытался облегчить участь покоренных эллинов.

Особая значимость его деятельности заключается в том, что он самым первым попытался проложить мост между греками и римлянами, сыграть роль связующего звена между ними. Он хотел внушить победителям-римлянам чувство уважения к побежденным грекам, а эллинов призывал к терпению и благоразумию, надеясь, что они научатся жить вместе в рамках одного государства.

Поэтому в восприятии и современников, и потомков, он остался не только выдающимся историком, но и человеком, не нарушившим своего нравственного долга перед родиной.

Несколько особняком стоят оценки, пожалуй, лишь трех исследователей, обвинявших Полибия не только в пособничестве римлянам, но даже в том, что он являлся их «секретным агентом». Это Т. Моммзен (Mommsen Th. *Römische Geschichte*. Bd. II. Berlin, 1903. S. 451), А. Момильяно (Momigliano A. *The historian's skin // Momigliano A. Essays in Ancient and Modern Historiography*. Oxford, 1977. P. 68), и А.Г. Бокщанин (Бокщанин А.Г. *Парфия и Рим*. М., 1960. Т. 1. С. 35).

Однако тщательный анализ всей жизни Полибия, его конкретных действий, как в Риме, так и в Греции, убедительно опровергает эти ни на чем серьезном не основанные обвинения.

В. В. Высокова (Уральский Федеральный университет,
Екатеринбург)

Историзм Эдварда Гиббона: предтечи и влияния

Вклад английского историка второй половины XVIII в. Э. Гиббона (1737-1794) в становление западной историографии сегодня оценивается высоко. Он оказался проницательным наблюдателем своего времени. Его обширный труд «История упадка и гибели Римской империи» стал «ответом» на «вызов» современности и имел прямую связь со становлением Британской империи. Классическая гиббониана обширна (Norton J.E., Craddock P., др.), но только историки последнего времени обратились к творчеству и личности историка в контексте современной Гиббону эпохи (Womersley D., Rosock J.G.A., др.). Здесь четко проявляются три ипостаси Гиббона: политик, литератор и историк.

Политический опыт Гиббона сводится к следующему. Член парламента от партии тори с 1774 по 1784 гг., был в самых дружественных отношениях с премьер-министром 1770-1782 гг. лордом Нортотом. Получил в 1779 г. пост главы Совета по торговле в кабинете Норта, что являлось фактически синекурой. Широкий резонанс имел написанный им в июле 1779 г. меморандум в защиту внешнеполитического курса Великобритании в момент вступления Франции в Войну за независимость США.

Весьма затруднительным является «отделение» литературной деятельности Гиббона от его исторических изысканий. Свою первую книгу «Этюд об изучении литературы» он опубликовал в 1761 г. Во второй половине 1760-х гг. вместе со своим товарищем он работал над журналом «Литературные памятники Великобритании»: два выпуска вышли в свет в 1768 и 1769 гг. Прекрасный литературный стиль «Истории...» Гиббона часто объясняют его исключительным знанием Вергилия. В 1770 г. он анонимно опубликовал «Критические замечания на шестую книгу Энеиды». Все эти работы были написаны на французском языке и большого успеха не имели.

Сегодня необходимо попытаться выявить «источники» историзма Гиббона и последующего успеха его «Истории...». Годы интеллектуального формирования Гиббона (1753-1758) и написания им этой книги (1784-1793) прошли в Женеве, которая в середине XVIII в. являлась центром новой рационалистической историософии, основанной на критическом прочтении исторических источников. Именно здесь свободно уживались и гражданская история в духе Гвиччардини и Макиавелли, и восстановившая свои позиции эрудитская традиция церковной истории в духе Боссюэ и мавристов. Религиозный скептицизм, сомнение в возможности рационального обоснования религиозных догматов, представление о независимости морали от религии стали основой новой историософии эпохи Просвещения. Сочинение Гиббона явилось синтезом этих двух традиций.

Как отмечает Гиббон в «Автобиографии», идеалом мыслителя-философа для него являлся Корнелий Тацит. «Переоткрытие» Тацита началось в эпоху гуманистов, а в век Просвещения он воспринимался как образчик гражданского историописателя и защитника свободы. Этот историк-моралист избегает мелкого и держится на высоте великого и славного, взывая к гражданскому чувству читателя. В первой половине XVIII в. Тацит транслировался, прежде всего, через сочинения Ш. Монтескье. Небольшой трактат последнего «Рассуждение о причинах величия и упадка римлян» (1734) имел самое непосредственное влияние на Гиббона. В нем Монтескье выступил как историк-исследователь. Работа написана на довольно обширном источниковом материале, автор проводит сопоставительный анализ сведений Ливия, Светония и Тацита, указывает на идеализацию ими римской истории. Монтескье предложил собственную оригинальную ее концепцию. В основе римского величия лежали гражданские добродетели, способность жертвовать личными интересами во имя общества, любовь к отечеству. Роль богатства, успешные завоевания, неравенство в распределении земельной собственности привели к порче нравов и общей деградации римлян.

Современный исследователь Дж. Покок уделяет особое внимание влиянию на творчество Гиббона итальянского историка и юриста Пьетро Джанноне (Giannone P., 1676-1748), который двадцать лет жизни посвятил написанию опубликованной в 1723 г. книги «Исто-

рия Неаполитанского королевства», где впервые в систематическом виде представил взаимодействие церкви и государства. В результате гонений церкви Джанноне оказался в Женеве. После его смерти было опубликовано еще одно его сочинение «В защиту гражданской истории правления Неаполя» (1755), направленное против римского духовенства. Другим повлиявшим на Гиббона автором был французский историк и священник из Пор-Рояля С. Тиллемон (1637-1698). Его шеститомная «История императоров и других правителей, которые правили в течение первых шести веков христианства» и шестнадцатитомная «История церкви первых шести столетий» представляют собой наиболее полное собрание фактического материала до начала VI в. о римских императорах, их внешней и внутренней политике. Тиллемон практически не подвергает критике источники – это обширная компиляция древних авторов. Гиббон в значительной степени использует материал Тиллемона, но придает ему новое философское осмысление.

Ну и, в конце концов, будет несправедливо не отметить влияние на творчество Э. Гиббона шотландской исторической школы. Дэвид Юм, старший его современник, был первым британским автором, получившим широкую известность и влияние как историописатель за пределами Британских островов. Общим местом в историографии является утверждение о глубокой взаимосвязи шотландского и французского Просвещения. Здесь Гиббон черпал свое вдохновение и образчики для подражания. Именно Юм настоятельно рекомендовал Гиббону писать «Историю...» на английском языке и сразу издать ее большим тиражом, предрекая ей небывалую популярность и коммерческий успех. Гиббон состоял в переписке с А. Смитом, А. Фергюсоном, У. Робертсоном, хотя сам в Шотландии никогда не бывал.

«Источники и составные части» историзма Э. Гиббона вызывают к их изучению. Однако уже сегодня ясно, что Тацит «наделил» Гиббона высокой гражданственностью и риторикой, Монтескье – интерпретативной «моделью» современности через призму истории и самой философской идеей сочинения, Джанноне – исследовательским дискурсом конфликта государства и церкви, Тиллемон – богатым фактическим материалом, Юм – чувством ответственности за будущее своего Отечества.

Т. В. Ерохина (Челябинский ГУ)

Немецкие историки XVIII в. в российской интеллектуальной культуре

В начале работы Академии наук как первого научного учреждения России, из 13 приглашенных академиков 9 являлись немецкими учеными (Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской Академии наук. Л., 1977). Академия наук на протяжении всего XVIII в. была многонациональной, с преобладанием в ее составе иностранцев. По дан-

ным Г.И. Смагиной, из 111 членов Академии 67 являлись выходцами из Германии (60%) (Немцы в России. СПб., 2004. С. 67). Немецкие ученые являлись специалистами из различных областей науки, в том числе истории. Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлёцер – виднейшие представители русской исторической науки XVIII в. Их творчество в историографии XIX-XX вв. являлось объектом повышенного внимания (См. исследования П.П. Пекарского, А.Б. Каменского, Л.П. Белковец, А.Х. Элерта, С.С. Илизарова, Т.Н. Джаксон, А.Ю. Андреева и др.).

С началом формирования собственной научно-исторической традиции, в России XVIII в. происходит интенсивное внедрение в культурный оборот новейших западноевропейских идей. Проблема перевода зарубежных исследований на русский язык становится актуальной. Г.Ф. Миллер, хорошо понимая это, вел подготовку молодых переводчиков из русских, среди которых можно назвать В.Е. Адодурова. Сам Г.Ф. Миллер переводил научные труды для издания созданных им «Примечаний» к «Санкт-Петербургским ведомостям», которые пользовались успехом и способствовали трансляции знаний в культурную среду и расширению кругозора читателей. Получив звание профессора, он приступил к выпуску сборника статей, касающихся России. «Sammlung russ. Geschichte» стало первым изданием, знакомившим иностранцев с Россией и ее историей.

Г.Ф. Миллер являлся одним из инициаторов и редактором первого научно-популярного периодического журнала «Ежемесячные сочинения» (1755-1764), который стал площадкой для консолидации российского интеллектуального сообщества. В «Предуведомлении» им сообщалось, что в журнал будут помещаться не только научные сочинения, но и такие, которые имеют практический, прикладной характер и полезны обществу. Издавался журнал под девизом – «Для всех», что подчеркивает его просвещенческую функцию.

При подготовке «Ежемесячных сочинений» к переводческой и публикаторской деятельности привлекалась учащаяся молодежь. Основное место в издании занимали научно-популярные статьи по истории, географии и статистике России. Автором большинства опубликованных исторических изысканий стал сам редактор. В литературной части участвовали известные писатели и поэты – И.П. Елагин, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, М.М. Херасков, А.И. Дубровский, помещавшие басни, эпиграммы, оды, сонеты, переводы.

В научном разделе журнала принимали активное участие географы, экономисты, авторы научных исследований, изобретатели. Среди них – экономист П.И. Рычков, историк и переводчик М.М. Щербатов, сибирский губернатор Ф.И. Соимонов. Г.Ф. Миллеру удалось привлечь к сотрудничеству в журнале некоторых академиков и иностранных членов Академии – И.А. Брауна, А.Н. Гришова, И.Г. Кёльрейтера, И.Г. Моделя, И.Э. Цейгера, Ф.У.Т. Эпинуса. Таким образом, на страницах «Ежемесячных сочинений» Г.Ф. Миллер объединил интеллектуальные силы России; журнал долго оставался эталоном научно-

литературного периодического издания. Об этом свидетельствует факт его переиздания на рубеже XVIII–XIX вв. (20 томов, в каждом – по 6 выпусков). Журнал распространил множество полезных сведений, познакомил читателей с историей и настоящим состоянием России.

Многое в академической среде XVIII в. было построено на системе межличностного общения, большое значение для интеллектуальной консолидации приобретало влияние авторитета ученых-лидеров. Сеть знакомств, корреспондентов покрывала европейское интеллектуальное сообщество, и Россия входила в него, не без помощи немецких ученых. Они играли роль медиаторов, «переводчиков» с языка других культур, восстанавливая разрыв между культурами, способствуя интерпретации новой культуры на русской почве. А.Л. Шлёцер активно содействовал развитию русско-немецких научных связей, в частности с Гёттингенским университетом. Г.Ф. Миллер в звании конференц-секретаря Академии вел обширную переписку с зарубежными учеными, приглашая профессоров и преподавателей для Московского университета.

В XVIII в., когда в России еще только формировалась система образования, Г.Ф. Миллер составил несколько больших проектов и частных записок по организации и улучшению школьного дела в России. Он обосновывал необходимость создания специального государственного органа по руководству образованием в стране, и придавал особое значение роли Академии наук в решении проблем просвещения (Г.Ф. Миллер и русская культура. СПб., 2007). Среди прочего историк в течение всей своей жизни собирал обширную библиотеку, которую приобрела Екатерина II, таким образом, она стала частью общественного культурного фонда страны.

Работая в Московском архиве Коллегии иностранных дел, Г.Ф. Миллер заботился не только о физическом состоянии дел и об их сохранности, но и о сотрудниках архива. Замыслы ученого помогали выполнять его ученики и сподвижники – Н.Н. Бантыш-Каменский, А.Ф. Малиновский. Совместными усилиями ими были заложены основы российской архивной системы. Деятельность Миллера на этом поприще подготовила почву для появления в московском архиве в конце XVIII – начале XIX в. такого культурного феномена как «архивные юноши», ставшие в дальнейшем видными государственными деятелями, историками, писателями. Архив, таким образом, стал культурным и интеллектуальным центром, в атмосфере которого выросло молодое поколение интеллектуалов и профессионалов.

Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлёцер сыграли важную роль в повышении авторитета русской науки и культуры в Западной Европе XVIII в., заложив определенные основы для развития профессионального исторического знания в России. Способствуя консолидации среды гуманитариев в пространстве российской культуры, они закладывали и традиции интеллектуальных коммуникаций.

**С. М. Данини, А. А. Матвеева, М. А. Буковецкая –
историки Французской революции**

В настоящее время в исторической науке обозначилась тенденция повышенного интереса к жизни и творчеству деятелей истории, которые на заре своего научного пути были признаны общественностью, но были вытеснены с исторического небосвода советской наукой. В представленном исследовании пойдет речь о трех выпускницах Бестужеских высших курсов (далее – ВЖК) - Софье Михайловне Глаголевой-Данини (1884-?), Александре Александровне Матвеевой-Леман, Марии Аркадьевне Буковецкой (1888-1946). Современным ученым почти ничего неизвестно о них, однако без упоминания их фамилий не обходятся сегодня труды, посвященные истории Французской революции или «Ecole russe».

Данини (по мужу Глаголева), Матвеева (по мужу Леман), Муфель (по мужу Буковецкая) обучались на Высших женских курсах примерно в одно время в 1908-1913 гг. Профессорами в этот период были крупнейшие представители «русской исторической школы» Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, Е.В. Тарле. Кареев вел курс «Методология исторической науки» и семинарий «Новая история: Наказы 1789 г.», Лучицкий – семинарий «Правовые указы 1790 и последующих годов», Тарле дисциплины по новой истории: Франция XVIII-XIX вв. (спец. вопрос: Религия в эпоху Французской революции), История абсолютной монархии, Англия в XVI-XVIII вв. (ЦГИА. Ф. 113. Оп. 2. Л. д. 1192.)

До поступления на Бестужевские курсы Данини и Матвеева побывали во Франции. В 1910-1911 гг. Данини восемь месяцев самостоятельно изучала материалы в Национальном архиве Парижа и департаментских архивах провинции Дофинэ. Матвеева обучалась в Сорбонне и под руководством А. Олара написала статью “Etude critique sur la journée de 20 prairial an II”, за которую была удостоена “diplôme d'études universitaires”. В 1911-1912 гг. в печатном органе Исторического общества «Историческом обозрении», выходят в свет их первые научные публикации. Матвеева увлеклась политической историей Французской революции, посвятив свое исследование малоизученному празднику Верховного Существа (Историческое обозрение. 1911. Т. 16. С. 24-85). Данини заинтересовалась аграрной историей Французской революции и крестьянскими восстаниями (Историческое обозрение. 1912. Т. 17. С. 127-172).

В 1914 г. отмечалось 40-летие профессорской деятельности Кареева, в связи с чем был подготовлен сборник «Николаю Ивановичу Карееву ученики и товарищи по научной работе. 1873-1913» (СПб., 1914), в котором приняли участие Матвеева и Данини. Небольшая

статья Матвеевой-Леман «Участие города Бордо в продаже национальных имуществ» была предпринята с целью выяснения «степени участия городского населения в приобретении земель, поступивших в продажу по указу Учредительного Собрания». Обширная статья Данини была посвящена крестьянскому землевладению в Авансоне. Буковецкая в ту пору публикует свои первые статьи по истории в «Русской энциклопедии», выходявшей под редакцией С.А. Адриано-ва в 1911-1915 гг. в Петербурге.

После окончания Бестужевских курсов историки приступают к преподавательской деятельности, но продолжают встречаться в неформальном кружке молодых историков, в «салоне Тарле» и семинаре Кареева, который проходил на его квартире. Кареев в воспоминаниях упоминал участниц семинара – Данини и Матвееву.

Результатом работы кружка Кареева стал сборник статей «Из далекого и близкого прошлого» (М.; Пг., 1923), приуроченный к полувековому юбилею научного творчества метра, в котором была опубликована статья Данини по истории промышленности и торговли в провинции Дофинэ. Матвеева в «Анналах» прорецензировала этот сборник этюдов. О работе своей сокурсницы она написала: «На основании архивных данных С.М. Глаголева-Данини дает реальную картину промышленной и торговой жизни Дофинэ в последние годы старого режима. Названная провинция была авангардом революционного движения, которое в 1789 году охватило всю Францию; поэтому опыт ее исторического прошлого не может не представлять интереса для исследователя» (Анналы. Л., 1924. № 4. С. 311).

Немалую роль в популяризации работ выпускниц Бестужевских курсов сыграл Е.В. Тарле, который являлся редактором журнала по всеобщей истории «Анналы». В этом журнале были опубликованы научные исследования Буковецкой (1923. № 3; 1924. № 4), историографические и научные статьи Данини (1922. № 1-2; 1924. № 4) и указанная выше рецензия Матвеевой. Публикации в «Анналах» стали поводом для гонений на историков. В числе других они были названы «целой плеядой эпигонов русской школы», «продолжавшей цветсти в послереволюционный период». В связи с этим Матвеева, вероятно, покинула Россию, Буковецкая вынуждена была оставить преподавательскую практику, Данини была осуждена на 5 лет.

Тернист был жизненный и творческий путь женщин-историков, чье научное становление пришлось на предреволюционные годы. В отличие от мужской части последователей «русской исторической школы», женщины были отторгнуты не только от научной практики, но и преподавательской деятельности в вузах. Только Буковецкой удалось защитить кандидатскую диссертацию по теме «Очерки по истории французской армии во время Великой Французской революции (1789-1793)» (РГБ. Л. д. № 46277). Ее исследования внесли новые

страницы в изучение истории французской армии, что подчеркивается отечественными и зарубежными учеными В.В. Бирюковичем, Г.В. Кигурадзе, М. Рейнаром.

Библиографический список женщин-историков невелик, но вклад их не должен остаться незамеченным. Коротко касаясь их вклада в историческую науку, можно выявить следующее: во-первых, ими разрабатывались проблемы времен Великой французской революции, что тематически не выходит за рамки проблематики «Ecole russe»; во-вторых, их работы отличало наличие обдуманного и основательного изучения трудов предшественников; в-третьих, все научные построения историков основывались на беспристрастном критическом анализе оригинальных источников, обнаруженных во французских архивах.

В. П. Золотарев (Сыктывкарский ГУ)

У истоков русской новистики: М. Н. Петров

Общественно-политические и научные события в Европе и России первой половины XIX в. оказали громадное воздействие на русское университетское образование и историческую науку. В их числе самое впечатляющее место занимают Отечественная война 1812 г., крушение наполеоновской империи, Венская система международных отношений, восстание декабристов на Сенатской площади С.-Петербурга 14 декабря 1825 г., основание Берлинского (1809 г.) и С.-Петербургского (1819 г.) университетов и т.д. Позже под их напором в российских университетах произошло хронологическое и тематическое расширение проблематики университетского изучения истории зарубежных стран (история России изучалась в университетах в необходимом объеме). Специалистам известно, что из триады, сформулированной еще в XVII в. (1688 г. Целларием –Христофором Келлером; ее зачатки имелись уже у историков-гуманистов), – (1) история древнего мира; (2) история средневековья; (3) история нового времени, – в российских университетах студенты штудировали лишь первые два отдела. Третья же часть «всеобщей истории» начала преподаваться в России в начале 60-х гг. XIX в. Это утверждение является, так сказать, «общим местом» в работах, посвященных вопросам изучения и преподавания зарубежной истории в российских университетах. Обычно в таком случае называются три имени: В.В. Бауер (1833-1884) (С.-Петербургский университет), В.И. Герье (1837-1919) (Московский университет) и М.Н. Петров (1826-1887) (Харьковский университет). Но кто из них был основателем этой необычной новации – вот вопрос, который требует документированного ответа. Такие документы у нас на руках. Информация, в них содержащаяся, позволяет утверждать основателем – и научным, и педагогическим – был Михаил Назарович Петров.

Этих недюжинных историков многое сближает. Все трое стажировались в известных западноевропейских университетах. Но в разное время. Первым, кто выехал в двухгодичную командировку в Германию, Францию, Италию, Бельгию и Англию, был М.Н. Петров и пробыл в «чужих краях» с июля 1858 г. по июль 1860 г. Результат – рукопись докторского исследования «Новейшая национальная историография в Германии, Англии и Франции», которое было опубликовано в 1861 г. и защищено 26 ноября 1865 г. в Московском университете.

Петров еще не вернулся из заморских стран, а по его стопам в мае 1860 г. последовал магистр С.-Петербургского университета Василий Васильевич Бауер, который (как и Петров) подготовил там докторскую диссертацию «Эпоха древней тирании» (защита состоялась в alma mater 7 октября 1863 г.). В.И. Герье же получил подобную командировку лишь в 1862 г. (на три года) и защитил свою докторскую диссертацию «Лейбниц и его век» 16 марта 1868 г. Внимательный читатель сразу же смекнул, что первым направил свои стопы в авторитетнейшие университеты Запада М.Н. Петров со строго определенной, как он написал позже в своем «Отчете о заграничной командировке», целью – «приготовить себя к возможно-основательному выполнению обязанностей университетского преподавателя всеобщей истории» (Харьков. 1861. С. 1). Его семидесятишестистраничный отчет, набранный уборым шрифтом, – яркое свидетельство того, что он прекрасно добился выполнения поставленной задачи именно как будущий профессор-новист. Первоначально Петров изучил литературу всеобщей истории, «имеющую всемирное значение»: германскую (С. 3-7), французскую (С. 7-10) и английскую (С. 10-14). Одновременно с этим он внимательно ознакомился с «академическим преподаванием всеобщей истории в чужих краях». Он посетил девять германских университетов – в Бреславе, Иене, Бонне, Праге, Лейпциге, Берлине, Мюнхене, Гейдельберге и др. Познакомился в них с германской системой университетского преподавания зарубежной истории, обратив особое внимание на практические занятия студентов *Historische Uebungen oder Historisches Seminar* (С. 14-33). Меньшее впечатление Петров получил от знакомства с университетским преподаванием всеобщей истории в университетах Франции – Сорбонне, *College de France*, *École Impériale des Chartes* и др. (С. 33-49). Бельгийские же университеты никак не обогатили М.Н. Петрова ни большой наукой, ни новизной способов преподавания (С. 49-52). Не ускользнули от его зоркого взгляда и «вспомогательные и родственные науки всеобщей истории» (археология, география, политическая экономия, статистика), а также «государственные науки» (юриспруденция и общенародное право) (С. 53-76).

О чем громко и внятно говорит приведенный ряд фактов? – спросим себя. Главное о том, что М.Н. Петров действительно «возможно-основательнее», чем его будущие здесь названные коллеги, подготовил

себя в «чужих краях» к работе историка-новиста в университете, что, собственно, и подтвердилось в дальнейшей его деятельности.

Не менее важным в этом ракурсе следует считать еще и то, что именно М.Н. Петров в начале 60-х гг. XIX в. выступил с докторским исследованием самого трудного для исполнения жанра – анализом западной историографии новой и новейшей истории. Припомним: В.В. Бауер посвятил докторскую работу проблемам древней тирании, а В.И. Герье – в общем-то не столь уж тесно связанной с конкретной историей нового времени проблематикой – «Лейбниц и его век».

И наконец, Петров познакомился со знаменитостями западной историографии и получал от них консультации. Он особо отметил ту помощь и то внимание, которое уделил ему Иоганн Густав Дройзен (Droysen), читавший в Берлинском университете необычный для того времени курс «Энциклопедия и методология истории». Если девизом Л. фон Ранке были слова «*Wie es eigentlich gewesen War*», то И. Дройзен сформулировал не менее афористичный, чем Ранке призыв к историкам «*Versuchen die Methoden*» и все вам будет по плечу. У нас не вызывает сомнений, что в методологическом отношении М.Н. Петров следовал этим заветам выдающихся германских историков.

Эти короткие заметки не дают нужных возможностей для дополнительной аргументации их заголовка. Оставим это для следующего раза. А на это раз еще раз повторим: у историков российской новистки стояли три оригинальных мыслителя – В.В. Бауер, В.И. Герье и М.Н. Петров. Последнего из них мы считаем ее зачинателем.

Р. Б. Казаков (НИУ ВШЭ, Москва)

Записи М.Н. Муравьева по русской истории и становление историка Н.М. Карамзина

О взаимоотношениях Михайлы Никитича Муравьева (1757-1807) и Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) известно: Муравьев способствовал тому, чтобы Карамзин был назначен историографом (И.В. Киреевский писал о «благомысленном и теплом содействии» Муравьева Карамзину). Карамзин до самой смерти Муравьева в письмах ему сообщал о ходе писания «Истории государства Российского», как бы отчитываясь о сделанном. После приезда в Петербург Карамзин снимали флигель в доме вдовы Муравьева Екатерины Федоровны, живя по-родственному и очень ценя доброту Екатерины Федоровны и радуясь успехам подрастающих сыновей Муравьевых Никиты и Александра. Не приходится сомневаться в очень теплых личных отношениях Муравьева и Карамзина.

Гораздо меньше известно нам о влиянии, которое оказывал Муравьев на Карамзина-литератора и – особенно – на Карамзина-историка. Точнее – о сущности такого влияния, в самом факте

которого тоже не приходится сомневаться. Известно, что именно Карамзин в 1810 г. подготовил к изданию «Опыты истории, словесности и нравоучения. Сочинения Михайла Никитича Муравьева, изданные по его кончине» (М., 1810. 2 ч.), которые переиздавались позднее в составе собранной сочинений Муравьева. У исследователей есть возможность сопоставить тексты публикации и сохранившиеся собственноручные записи Муравьева (ОР РНБ. Ф. 499. Д. 23, 24, 29, 30, 32, 80 и др.).

Несколько наблюдений позволяют поставить вопрос о прямом влиянии сочинений по русской истории Муравьева на процесс становления историописателя Карамзина и его сочинения по русской истории. Думается, что можно говорить о влиянии идейном, стилистическом и даже о значительном единстве исторических взглядов двух выдающихся литераторов и историописателей.

Единство взглядов Муравьева и Карамзина предопределяла сама эпоха. Оба жили и начали свою литературную деятельность в екатерининский век, в эпоху Просвещения. В сочинениях Муравьева и Карамзина мы найдем практически совпадающие по настроению слова восхищения героическими страницами истории древних греков и римлян. В сохранившемся фрагменте каталога своей библиотеки Муравьев перечислил сочинения тех авторов, которые, безусловно, читал позднее Карамзин (Д. 6). Например, оды К.В. Рамлера («старика Рамлера», «В одах его есть истинные восторги, высокое парение мыслей и язык вдохновения»), напишет в «Письмах русского путешественника» Карамзин), сочинения Х.М. Виланда («Вчера два раза был я у Виланда»), С. Геснера («где нежный Геснер рвал цветы для украшения пастухов и пастушек своих»). Карамзин издал в 1783 г. свой перевод идиллии С. Геснера «Деревянная нога»), И.В. Гете (Карамзин так и не увидел его: «Дома ли Гете?» – «Нет, он во дворце»), М.М. Хераскова («бессмертный творец “Россияды”»), напишет Карамзин в статье «О Богдановиче и его сочинениях»), А.П. Сумарокова (Карамзин поставит в ряд классиков: «Ломоносов, Сумароков, Херасков»). У Муравьева были «Опыт Казанской истории» П.Н. Рычкова и «Географический лексикон Российского государства» Ф.А. Полунина, которые также были известны Карамзину. В основном Муравьев перечислил российские и западноевропейские издания 1760-1770-х гг.

И Муравьев, и Карамзин оставили читателям идиллические картины сельской жизни. В «Обитателе предместья» Муравьев писал: «Не выезжая из города, пользуюсь всеми удовольствиями деревни, за тем, что живу в предместьи. Я вижу жатву из окошка. <...> Мой домик очень мал и невиден; но я не променяю его на великолепнейшие здания, восходящие к облакам и поддерживаемые столпами»). У Карамзина в «Письме сельского жителя» найдем: «Жизнь моя, думаю, счастлива, ибо я доволен ею. Лета, конечно, исцеляют нас от сей душевной лихорадки, от сего внутреннего неизъяснимого беспокойства, которое тревожит молодость; но и самый чистый воздух полей и лесов, самый вид

сельской природы не имеет ли также благотворного влияния на сердце и не располагает ли его физически к сладкому чувству покоя?».

Но влияние сочинений Муравьева особенно заметно, если сравнивать его заметки по русской истории и исторические сочинения Карамзина. И первое, что становится очевидно, – совпадающие оценки роли Ивана III в становлении Российского государства. Иван III – главный герой «Истории государства Российского» Карамзина: «Отселе История наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки Княжеские, но деяния Царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством; образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической». В черновом автографе (который возможно датируется по филиграну не ранее 1760-х гг.) Муравьев писал: «Славные царствования двух тезоименных царей Иванов Васильевичей, деда и внука, и не менее полезное меж обоими царство Василья Иоанновича не только оградили Россию от врагов ее, но и распространили пределы ее сияющими завоеваниями. Отпало вредное установление уделов. Один монарх приводил в движение огромное тело России». Поразительна следующая ниже характеристика Ивана Грозного: «Иоанн Васильевич II помрачил сияющие дарования оскорблениями человечества, самовластием, которое преходило пределы правосудия, между соотечественными писателями обличаемый именем Грозного, иностранными Тираном зловлимым» (Д. 80). Карамзин позднее начнет 9-й том «Истории государства Российского» словами о «бездне ужасов тиранства».

Заметки по русской истории свидетельствуют, что фигура Ивана III постоянно привлекала внимание Муравьева. Его правление – как бы обязательный итог рассуждений Муравьева о древней истории России, периода ее раздробленности и пр. Это присутствует даже в его сочинениях, не относящихся напрямую ко времени правления Ивана III. В «Разговорах мертвых» в воображаемом диалоге «Ярослав и летописатель Нестор» Нестор говорил о будущей эпохе, когда «внутреннее спокойствие государства утверждено на основании законов, и трудолюбие распространило в обществе приятное изобилие». Черновик Муравьева отличается от опубликованного текста. В нем Ярослав сокрушался: «Испытав все нещастия междоусобия, Россия узнает выгоды согласия и общественного соединения». Для Муравьева эпоха «междоусобия» – это время, когда «и Российское имя осталось бы безславно, если бы не суждено было быть главою ее Иоанну Васильевичу первому» (Д. 29).

Даже несколько примеров сравнения сочинений Муравьева и Карамзина свидетельствуют о том, что в формировании исторических представлений Карамзина, его практик историописания Муравьеву принадлежит важная, едва ли не определяющая роль.

Н. А. Воскресенский: историк вне корпорации

Фамилия *Воскресенский* известна всем исследователям эпохи Петра I по объемистому первому и пока последнему печатному тому «Законодательных актов Петра I». Без использования этого сборника сейчас невозможно представить себе работы по петровским реформам. О самом Н.А. Воскресенском исследователи обычно не упоминают, не говоря уже о том, чтобы ввести его научные сочинения в историографический оборот. Для них это всего лишь фамилия на сборнике документов. Краткая биография и обзор рукописного наследия Воскресенского были опубликованы в 1977 г. (Федосеева Е.П. Документальные материалы Н.А. Воскресенского в хранилищах Ленинграда и Москвы // Археографический ежегодник за 1976 год. М., 1977). Однако исследователи петровской эпохи не обратили внимания на эту статью. Такое положение с научным наследием историка едва ли обусловлено его небольшой ценностью. Неизданными материалами, которые он собрал, специалисты по XVIII в. пользовались довольно охотно (например, М.Н. Мартынов, Я.Е. Водарский, Е.В. Анисимов, Н.В. Козлова). Скорее, подобное отсутствие внимания к самому Воскресенскому при интересе к собранным им источникам было связано со спецификой взаимоотношения его с профессиональным сообществом историков в 20-40-е гг. XX в.

Н.А. Воскресенский, выпускник Нежинского историко-филологического института, с 1918 г. живший в Петербурге (Там же. С. 221), приступил к изучению материалов законодательства Петра I с октября 1923 г. (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2570. Л. 1). В своих исследованиях он обратился за поддержкой к академику С.Ф. Платонову, которого он сам называл своим «высокоцитимым учителем», чьими «Лекциями» он «вдохновлялся и на ученых трудах которого учился работать над памятниками русской истории» (Там же. Л. 3). Платонов отнесся к изысканиям Воскресенского благоприятно и стал способствовать ему по линии Академии наук [Там же; Платонов С.Ф. Петр Великий. Л., 1926. С. 32-33]. К 1930 г. Воскресенский подготовил к изданию первый том источников по петровскому законодательству – «Законодательные акты первой четверти XVIII в., относящиеся к преобразованию высших центральных учреждений России» (ОР РНБ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 1. Л. 1).

Разворачивавшееся с 1929 г. «Академическое дело» фактически лишило поддержки Воскресенского со стороны Платонова. Все 30-е гг. Воскресенский продолжал работать над сбором материалов по истории петровского законодательства. Однако, его изыскания не

получили никакой поддержки среди историков. В частности, он отправил подготовленные к публикации материалы в Институт истории АН СССР, где они пролежали «5 лет без движения» (НИОР РГБ. Ф. 366. К. 38. Д. 61. Л. 49). Подстраиваясь под конъюнктуру, связанную с акцентом советской марксистской исторической науки на исследования по социально-экономической истории, в 1938 г. Воскресенский в качестве первого тома «Законодательных актов Петра Великого» попытался предложить акты «О промышленности и торговле» (ОР РНБ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 8).

Изменения в его научной карьере произошли в конце 1930-х гг., когда о Воскресенском и его работе узнал один из последних историков права «старой», дореволюционной школы Б.И. Сыромятников, возглавлявший с 1938 г. секцию Государственного права в Институте права АН СССР (Тихонов В.В. Жизнь и научная деятельность Б.И. Сыромятникова // История и историки: историографический вестник. 2007. М., 2009. С. 294). В 1940 г. первый том – «Акты о высших государственных установлениях» – был принят к печати в Институте права (Советское государство и право. 1940. № 11. С. 121), а подготовка к печати второго тома была внесена в план работы института на 1941 г. (НИОР РГБ. Ф. 366. К. 36. Д. 21. Л. 47).

Начавшаяся Великая Отечественная война нанесла удар по этим планам. Сыромятников оказался в эвакуации в Ташкенте, а Воскресенский – в блокадном Ленинграде, где продолжал при поддержке своей жены – Зинаиды Андреевны Воскресенской – работать над изучением петровского законодательства. В результате к 1943 г. им были подготовлены к печати три тома «Законодательных актов Петра I» (в 5 частях), четвертый – готовился, а также представлены два тома «Фотокопий собственноручных писаний Петра», в которых каждая фотокопия сопровождалась расшифрованным текстом. Данные труды были представлены Воскресенским в качестве диссертации на соискание степени кандидата юридических наук (Там же. К. 28. Д. 10. Л. 1-2). К 1945 г. он также создает монографию «Петр Великий как законодатель. Исследование законодательного процесса в России в эпоху реформ первой четверти XVIII века». Всего историк написал 12 глав работы (ОР РНБ. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 24), так и не завершив ее. Не последнюю роль в этом сыграло то, что блокада подорвала здоровье Воскресенского (НИОР РГБ. Ф. 366. К. 37. Д. 41. Л. 1-7).

В 1945 г. вышел из печати первый том «Законодательных актов Петра I». Издание второго тома задерживалось. Вполне возможно, что это было связано с той критикой, которой в 1944 г. Сыромятников подвергся за свою работу «Регулярное государство Петра Первого и его идеология» (Ч. I. М., 1943) со стороны Института истории во главе с Б.Д. Грековым (Тихонов В.В. Указ. соч. С. 302-304). В письме Сыромятникову от 12 августа 1946 г. Воскресенский беспокоился о судьбе

второго тома своих «актов». Свою обеспокоенность он связывал с Б.Д. Грековым и его «приспешниками», которых обвинял в том, что они «погубили меня и мою семью голодом во время блокады, так как задержали мои работы и препятствовали их напечатанию» (НИОР РГБ. Ф. 366. К. 37. Д. 41. Л. 3). Как оказалось, Воскресенский беспокоился не зря. 12 января 1947 г. Сыромятников умер. Без его поддержки Воскресенскому так и не удалось опубликовать второй том. Сам Воскресенский пережил его на год с небольшим: он умер 28 января 1948 г.

После смерти исследователь, чьи материалы были вполне востребованы историками, оказался в забвении. Показательно, что в это время издавалось и продолжает издаваться научное наследие российских историков XX в., в частности С.К. Богоявленского, М.М. Богословского, С.В. Бахрушина. Все эти авторы занимали свое почетное место в коллективной памяти исторических корпораций. Н.А. Воскресенского постигла иная судьба. Выпускник провинциального института, он формально не был ничьим учеником, не попал в генеалогию чьей-нибудь научной школы. Волею судеб он не смог встроиться ни в одну из профессиональных корпораций историков. Таким образом, он оказался исключенным из коллективной памяти российских историков XX в., несмотря на свой самоотверженный труд на благо науки.

Этот случай позволяет поставить проблему соотношения коллективной памяти профессиональных корпораций историков и научной значимости изучения наследия того или иного историка. Вызвана ли публикация научного наследия какого-либо исследователя, а также проведение мемориальной конференции по изучению его наследия его научной значимостью или является формой коллективной памяти той или иной профессиональной корпорации историков?

А. И. Ключев (Омский ГУ)

О стратегии написания исторической диссертации: «Опыты...» Н. П. Оттокара*

Одним из обязательных элементов исторического исследования, введенного в отечественную практику более столетия назад, является историографический анализ, призванный не просто обозначить достижения современников, но и определить собственное место исследователя в изучении вопроса. Последнее, безусловно, предполагает наличие в представляемых обзорах критического элемента, однако

* Работа проводилась при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям, государственный контракт 02.740.11.0350.

присутствующего в несколько завуалированном виде: на первый план принято выдвигать достижения прошлых поколений ученых и лишь затем указывать на имеющие место недостатки, обусловленные, не в последнюю очередь, уровнем развития исторической науки в тот или иной период. В данной работе речь пойдет о кардинально отличной стратегии поведения историка при написании магистерской диссертации и мотивах и смыслах, его вызвавших.

Защита Н.П. Оттокар книги «Опыты по истории французских городов в средние века» в качестве магистерской диссертации состоялась в Петрограде в 1921 г. Оппонентами выступили И.М. Гревс, О.А. Добиаш-Рождественская и Л.П. Карсавин. Отзывы оказались весьма положительными, за исключением одного момента. Все оппоненты, а затем и рецензенты в печати отмечали подчеркнуто резкий тон книги, вызывающее позиционирование автора по отношению к своим предшественникам (СПФ АРАН. Ф. 726. Оп. 1. № 143; ОР РНБ. Ф. 254. Д. 233). Именно это обстоятельство и вызывает наш интерес.

Пожалуй, истоки подобной ситуации нужно искать в начале 1910-х гг., когда Оттокар был командирован за границу для написания диссертационного исследования. В течение трех лет, с 1911 по 1914 гг., историк работал в архивах и библиотеках Флоренции, собирав материал для книги по социально-политической истории города. Однако, когда настало время возвращаться в Россию, началась мировая война, и в этой ситуации было неизбежно оставить почти все материалы для диссертации в Италии (См.: Ключев А.И. Из истории одной книги: Н.П. Оттокар и его книга «Флорентийская коммуна в конце Дудженто» в контексте эпохи // Диалог со временем. М., 2011. Вып. 34. С. 249-270).

После возвращения, в 1915 г. историк попадает в Пермский университет, где довольно быстро продвигается по карьерной лестнице: начав приват-доцентом, к маю 1918 г. стал ординарным профессором, побывав при этом в должностях декана факультета и проректора университета. Но в чем парадокс: Оттокар не имеет на руках защищенной магистерской диссертации. Именно здесь он пишет свои «Опыты..», и издает книгу «под диссертацию» (как бы мы сказали сейчас) в 1919 г. в пермском издательстве (Оттокар Н.П. Опыты по истории французских городов в средние века. Пермь, 1919). Как нам кажется, эти обстоятельства в какой-то мере диктуют историку определенные правила игры, которые, несомненно, находят отражение в этом историческом исследовании.

Во-первых, Оттокар, будучи урбанистом по преимуществу романских городов, избирает сюжеты для диссертации, очевидно для него знакомые и близкие. Французские города – проблема, в которой он очень хорошо ориентируется.

Во-вторых, условия Перми накладывают определенный отпечаток. Вдали от столичных библиотек и архивов в своей работе историк вынужден опираться на материал, который он усвоил еще со студенческой скамьи, на то, что начитал во время подготовки к магистерскому экзамену, а также на то немногое, что смог привезти с собой в Пермь. И получается то, что отмечают буквально все рецензенты: Оттокар не вводит ничего нового из исторического материала, он скован узким кругом тех источников, которые уже давно обработаны и давно известны. Этим объясняется, кстати, и методологический характер работы. При этом, дабы выглядеть диссертационно, он выбирает совершенно определенную стратегию построения текста и ведения полемики с оппонентами. Изучение истории французских городов к тому моменту насчитывает уже как минимум сто лет, и сделать в ней что-то оригинальное без новой источниковой базы, как кажется, было проблематичным. Думается, это понимал и сам Оттокар. Подчеркнуто язвительное и вызывающе резкое «поведение» по отношению к французским урбанистам – это то, к чему прибегает историк для того, чтобы защита имела успех. Ученый буквально обрушивается с критикой на выдающихся представителей французской науки, таких как А. Люшер, О. Тьери, Ж. Флак, А. Лефранк, Л.-О. Лабанд, обвиняя их в некомпетентности. Вот несколько примеров: «Из данных местных хроник и "деяний" Огюстен Тьерри, а за ним Гегель, Люшер, Флак, Рейнеке и др. создали целую легенду о превращениях Камбрейской коммуны и ее успехах и падениях»; «Не Гиберт Ножанский "ослеплен ненавистью к новым учреждениям", а ослеплены мы своим предвзятым отношением к городской истории»: «Горожане изображаются маниаками какой-то мифической "коммунальной идеи"»; «Несмотря на большое количество работ в этой области, я все-таки осмеливаюсь утверждать, что к действительному исследованию французских городов до сих пор еще не приступлено». Такое показное резкое поведение историка, которое временами перетекает в оригинальничание, гиперкритицизм и «манию отрицания» (как замечает Добиаш-Рождественская), думается, вовсе не идет в разрез с действительной оригинальностью идей, высказанных в книге.

В заключение стоит отослать читателя к книге о Флорентийской коммуне, которая увидела свет в 1926 г. Эта книга написана примерно в том же критическом ключе, что и «Опыты...», однако в ней Оттокар имел пространство для маневра, и здесь историк ведет критику по определенным «параметрам»: критика всегда сопровождается подчеркнутым пиететом по отношению к критикуемому (Ottokar N. Il Comune di Firenze alla fine del Dugento. Firenze, 1926. И также предлагаю посмотреть статью: Ottokar N. Il Comune di Firenze // Ottokar N.. Studi comunali e fiorentini. Firenze, 1948).

**Первые историки-марксисты в поисках самоидентификации:
образ науки в личностном измерении***

При построении нового общества «было необходимо переизобрести себя в качестве советского гражданина и – еще более настоятельно – установить приемлемую классовую идентичность» (Fitzpatrick Sh. Making a Self for Times: Impersonation and Imposture in Twentieth-Century Russia // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2001. Vol. 2, № 3. P 469). Конструирование активного советского субъекта осуществлялось на основании различных поведенческих стратегий, личностно опосредовалось. Частью процесса субъективизации для деятеля науки было выяснение/определение/обретение представления о профессии, выяснение экзистенциального вопроса о своем месте в мире через отношение к науке. Важно учитывать, что объективное содержание науки и ее восприятие/оценка/образ в историографической практике выступают в нерасчлененном виде как единство взаимосвязанных сторон научного процесса. Каждая из этих сторон для нас ценностно-информативна, и личностные варианты представления о научности мы можем попытаться реконструировать, анализируя как творчество историка (объективация образа), так и субъективно-рефлексивные попытки осмысления этого творчества. В этом плане нас интересуют размышления (часто горестные) о соответствии реального состояния науки, профессиональных и личностных характеристик ее представителей абстрактно-желанному ее образу.

Этот образ с его иерархией обязательных догматизированных характеристик (партийность, научность, историзм и т.д.) клиширован. Проблема в том, какое место эти клишированные определения занимают в научной деятельности и жизненном мире историка, в выявлении «горизонта возможностей» его лично и науки в целом. И что более плодотворно (да и безопасно): стараться рефлексивно приблизиться к этому горизонту или продуктивно дистанцироваться от него?

Вариант первый, более привычный – гуманитарий, «умеющий дышать под водой», выполнять профессиональный долг вопреки или в обход официальных идеологов. Но это не означало разрыва с советским историографическим дискурсом, скорее свидетельствовало о поливариантности образов науки в этих дискурсивных рамках. Под или над водой дышать можно было лишь воздухом своей эпохи.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.», государственный контракт 02.740.11.0350.

Диалогическое взаимодействие с эпохой, позволяющее сформировать собственное мирозерцание, собственные образы мира и науки, присуще иркутскому историку М.А. Гудошникову (1894-1956). Создание образа науки является частью процесса его самоидентификации. Этот процесс весьма динамичен на начальном этапе его деятельности (1920-е годы). В рамках советского историографического mainstream'a молодой историк-марксист последовательно примеряет роли критическо-нигилистически настроенного краеведа-бытописателя (применительно к дореволюционной истории Карелии), ревностного, хотя и не вполне ортодоксального, сторонника теории торгового капитализма, методолога, озабоченного вопросами завершения марксистского философского проекта (социологической его части). Дискурсивные рамки, в которых Гудошниковым осознается/трансформируется образ исторической науки, определялись не только «рефлексом идеологии победившей партии», но и общей социокультурной ситуацией, «принципиально лишенной исторического измерения». Свойственный эпохе социологизм безусловно разделяется им: «задача истории ясна – открытие социологических законов, т.е. законов развития общества».

Но уже на этом этапе его научного и жизненного пути «клубок начинает разматываться в обратном направлении» – от публицистического рассмотрения дореволюционной социальной реальности он переходит к собственно историческому. Теория торгового капитализма, в рамках которой происходит этот переход, скоро также перестает его удовлетворять, так как она явно недооценивает влияние духовного климата («жизненного шума, идейного узора эпохи») на общественное развитие. Переосмысливается Гудошниковым и отношение к марксизму – неизбежное официальное признание марксистской доктрины сочетается у него с довольно очевидными народническими пристрастиями. Довольно рано Гудошников приходит к скептицизму относительно возможности познания исторического процесса как на базе марксистской методологии, так и на иных методологических основаниях. В «сухом остатке» после этих методологическо-личностных трансформаций остается своеобразный позитивизм на советской почве, профессионализация в специфически советских формах. Зрелый и признанный (в рамках сибирской региональной историографии, иркутского культурного гнезда) Гудошников старается совместить научную значимость и социальную востребованность, профессионализировать социальный заказ, защитить сформировавшийся советский историзм от экспансии со стороны смежных областей гуманитаристики. Процесс переизобретения себя как советского гражданина в варианте Гудошникова создает историка-профессионала, соавтора-интерпретатора марксистского проекта на отечественной почве.

Второй вариант идентификации по-советски, когда акцент делается не на профессионализм, а на «классовую идентичность», сто-процентную советскость, представлен, на мой взгляд, поведенческой стратегией советского историка С.А. Пионтковского (1891-1937).

Для Пионтковского характерны стремление понять логику жизни/власти/науки, фиксация нестыковки между этой вроде бы улавливаемой логикой и научной и житейской конкретикой. Это проявляется в его отношении к старой профессуре, в котором не только «сквозит ненависть к буржуазным историкам», но и виден кризис идентичности самого Пионтковского. Пионтковский искренне не понимает, как совместить новую социальную реальность и классический профессионализм старой профессуры: «почему они не эмигрируют, почему остаются в России? Ведь в большинстве это очень крупные специалисты в своей области и в любом буржуазном университете и Петрушевский, и Довнар-Запольский, и тот же Петров получили бы и кафедры, и заработок, и положение». Он признает, что без репрессивно-ограничительных мер по отношению к старой профессуре постоянно будет воспроизводиться дореволюционный образ науки, укорененный и в науке, и в повседневности. При этом варианте социального позиционирования сложной оказывается «позитивная самоидентификация». Оказавшись не в состоянии наладить конструктивный диалог с политическим режимом, Пионтковский не мог устойчиво позиционироваться в научном пространстве, обрести внутренне приемлемый для него образ советской науки, утвердиться в сделанном им жизненном выборе. Он фиксирует такие черты новой науки, как ограниченность когнитивных возможностей («мы... не можем дать анализ воспроизводства всего буржуазного мира в целом»), очень далекий от идеала профессиональный и моральный облик ее представителей, опасную зависимость от политических кампаний.

А. А. Литвин, А. А. Сальникова (Казанский ФУ)

«Красный» профессор Михаил Корбут (1899-1937)

«Смутное время» в истории Казанского университета – период 1920-х – первой половины 1930-х гг., время жестоких и часто неоправданных экспериментов, проводимых над высшей школой новой властью, прямо затронуло каждого из представителей университетской корпорации и университетское сообщество в целом. Ряд преподавателей был изгнан из университетских стен, отвергнут и забыт; другие, смирившись и приспособившись, продолжали работать; третьи, всецело приняв новые, советские установки, нормы и правила, сделали стремительные карьеры, достигнув головокружительных высот. К числу последних может быть отнесен историк, автор юбилейного двухтомника по истории Казанского университета (1930), профессор Михаил Ксаверьевич Корбут.

История жизни и творчества Корбута как представителя той генерации советских ученых, чья юность и зрелость пришлись на мятежные революционные и послереволюционные годы, сама по себе знакова и интересна. Выходец из интеллигентной семьи, сын польского пианиста из Ковно и казанской дворянки, маленький, тихий и незаметный в детстве, он сумел стать одной из самых авторитетных персон среди «пролетарского» студенчества Казани, бессменно возглавляя университетский рабфак в 1921-1926 гг. Он получил профессорское звание в возрасте 27 лет. Он оставил после себя более сотни научных работ – статей, обзоров, рецензий, не говоря уже о венчающей его творчество фундаментальной юбилейной истории Казанского университета за 125 лет его существования. Он занимал множество мыслимых и немыслимых постов, сотрудничал со множеством казанских и московских периодических и непериодических изданий, возглавлял целый ряд научных обществ; будучи членом РКП(б) с 1919 г., активно участвовал в общественной работе, выполняя множество общественных поручений. Все рухнуло в одночасье, когда в декабре 1927 г. Корбут был исключен из рядов партии за участие в «троцкистско-зиновьевском оппозиционном течении», в 1933 г. арестован, а затем, в 1937 г., расстрелян как один из руководителей «контрреволюционной троцкистской террористической организации».

Однако, помимо изучения истории жизни и научного творчества Корбута, ничуть не меньший исследовательский интерес представляет другой сюжет. Как произошло «возвращение» Корбута в отечественную историческую науку? Какие метаморфозы претерпело отношение к нему как к человеку своей эпохи и как к исследователю по мере развития самой отечественной историографии в перестроечный и постперестроечный период? Насколько успешно встраивается индивидуальная биография Корбута в просопографию «новых», «красных» профессоров, что в ней типично, а что уникально, и каково соотношение этой уникальности и типичности?

Как известно, после 1937 г. имя Корбута оказалось вычеркнутым из советской историографии на долгие десятилетия. Историки (А.Л. Литвин, А.Г. Циунчук, А.А. Элерт) начали упоминать его – и то лишь изредка и вскользь (в основном при изучении истории студенческого движения в Казани и деятельности Истпарта, казанскую подкомиссию которого возглавлял Корбут) – только в 1960-1970-е гг. Однако по-настоящему Корбут вернулся в историческую науку лишь на волне постперестроечной реабилитации (Литвин А.А. Корбут Михаил Ксавьевич (1899-1937) // Возвращенные имена. Казань, 1990. С. 111-115), когда впервые был поставлен вопрос о необходимости и возможности осмысления истории жизни этого необычного человека. Однако разрешить этот вопрос в тот период было еще очень сложно. Во-первых, сказывалась нехватка источников, во-вторых, что было не менее важно, образ безвинной жертвы сталинизма слишком сильно довлел тогда над сознанием исследователей, что приводило к идеализации и романтиза-

ции этой непростой личности. В коллективной монографии, посвященной изучению и преподаванию отечественной истории в КГУ, научная и педагогическая деятельность Корбута была представлена как пример успешной адаптации молодого ученого «из бывших» к новым, советским условиям (Сальникова А.А. Становление советской системы исторического образования. 1917 – конец 1930-х гг. // Изучение и преподавание отечественной истории в Казанском университете. Казань, 2003. С. 65-139), однако историографические сюжеты книги во многом заслонили собой историко-психологические и историко-социальные подходы в изучении биографии ученого.

Новый этап в исследовании жизни и творчества Корбута начался с середины 2000-х гг. Анализ ранее не известных или малоизвестных документов: частных нарративных (воспоминания родных и близких историка), официальных делопроизводственных (гимназическая документация, персональные дела Корбута, судебно-следственные источники), фотоматериалов, а также всего творческого наследия историка позволил увидеть его таким, каким он был на самом деле – талантливым и честолюбивым, гордым и одновременно компромиссным, жертвой одних и палачом других, человеком, отречься от своего прошлого, жестким прагматиком, подчинившим и свою жизнь, и свои исследования выстраиванию успешной карьеры «красного» профессора, склонявшегося перед властью, которая, в конечном счете, не оправдала его амбициозных ожиданий. При этом его биография была лишена многих характеристик, типичных как для классической научной «агиографии», так и для «агиографии» политической, «советской».

От «открытия» до «возвращения» в историю и историографию, от оценки – к переоценке и пересмотру, от описания индивидуального к выявлению общего и типического, а затем – атипичного и нехарактерного – именно так шло изучение жизни и творчества М.К. Корбута в отечественной историографии. Казалось бы, в таком подходе не было ничего принципиально нового. Между тем выявленная в конечном итоге «похожая непохожесть» этого человека и исследователя позволила вновь обозначить то разнообразие путей, по которым шло становление советской исторической науки, и то разнообразие судеб, которые наполняли этот процесс реальным, живым содержанием.

Н. В. Некрасова (РГГУ, Москва)

**В. И. Колосов – историк Твери
или провинциальный историописатель?:
к постановке проблемы**

Провинциальная историография является неотъемлемой частью истории отечественной исторической мысли. Особой эпохой в провинциальном (региональном) историописании стала последняя четверть XIX – начало XX в. В этот период в российских губерниях

сформировались локальные интеллектуальные сообщества, занимавшиеся историческими и краеведческими исследованиями, были организованы научные учреждения и общества, имевшие ярко выраженную краеведческую направленность. В Тверской губернии это – Тверская ученая архивная комиссия (ТУАК – 1884 г.), Тверское общество любителей истории, археологии и естествознания (1897), Тверской епархиальный историко-археологический комитет (1902).

ТУАК была одной из наиболее плодотворных комиссий в области издательской деятельности. Необходимо исследовать информационный потенциал изданий комиссии, ее деятельность в области распространения исторических знаний и формирования местной социальной памяти. Особый интерес представляют, вопросы о научно-ориентированной и социально-ориентированной практиках тверского историописания, а также о том, какова доля научной составляющей в трудах провинциальных историков. В своей исследовательской практике мы применяем методы научно-педагогической школы источниковедения Историко-архивного института РГГУ (признание чужой одушевленности, взаимодействие историка с источником), инструментарий, используемый в предметных полях новой локальной и интеллектуальной историй, а также методы биографики.

Представляется важным выяснить степень профессионализма местного историописателя, его исследовательского инструментария, применяемых им методологических приёмов, его зависимость от чужих текстов, выявить технику репрезентации материала. «Необходимо всмотреться в исторический дискурс исследователей, на конструкцию и содержание их текстов, на мастерские, где «делается» локальная история и тем самым идентифицировать уровни и типы репрезентируемого исторического знания» (Маловичко С.И. Тип исторического знания в провинциальном историописании и историческом краеведении // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 7. Ставрополь, 2005. С. 5-31).

Одна из наиболее ярких личностей среди членов ТУАК – Владимир Иванович Колосов. Он родился в 1854 г. в г. Ржеве Тверской губернии в семье смотрителя Ржевского духовного училища. Колосов окончил Тверскую духовную семинарию в 1875 году и церковно-историческое отделение Петербургской духовной академии в 1879 г., преподавал в Твери всеобщую и русскую историю, состоял членом ТУАК, являлся председателем Совета Тверского общества любителей археологии, истории и естествознания, был хранителем Тверского историко-археологического музея. За это время им было написано более 30 работ, корпус которых неоднороден и неравнозначен.

Для деконструкции модели исторического письма Колосова обратимся к его небольшому очерку, изданному ТУАК – «Петр Великий в Твери» (Тверь, 1902, 12 с.). Начинается этот текст в жанре популярного очерка «на историческую тему»: «Великий преобразователь России в

своей кипучей и разносторонней деятельности неоднократно искрестил вдоль и поперек всю широкую матушку Русь и везде оставлял он прочные и плодотворные следы своего пребывания. Несколько раз проезжал он и через Тверь, лежащую на большой дороге между Москвою и излюбленным его Парадисом...» Здесь явно баллетристический дискурс превалирует над научным или даже научно-популярным. Далее Колосов резюмирует: «Собрать и проверить эти предания при помощи науки [курсив мой] и будет целью настоящей заметки».

Очерк замечателен тем, что Колосовым предпринята попытка сравнить воспоминания «старушки» (Колосов сделал сноску на опубликованные воспоминания Светогоровой о Твери и сочинения местного историописателя XVIII в. Диомида Карманова). Тверской исследователь выявляет общее и различное в указанных исторических источниках и сверяет их со сведениями в современных ему исследованиях. В качестве образцов он выбирает «Историю Петра Великого» Н.Г. Устрялова и «Историю России» С.М. Соловьева. Интересен выбор источников «для сверки». Важно, что Колосов понимает, что воспоминания – это ценный документ, фиксирующий мелочи быта, «мелочи исторических событий». Он отделяет работы местных историков, и воспоминания простых людей от трудов «почтенных историков», внимание которых сосредоточено «на самых важных исторических вопросах».

В начале очерка Колосов ставит задачу определить время пребывания Петра в Твери, но констатирует, что «в определении времени этого события наши источники расходятся». Он замечает, что «...Устрялов, сам того не замечая, допускает, впрочем, прямое противоречие своему утверждению, что Петр вместе с полком шел до самой Твери, говоря, что 26 августа Петр получил в Твери важные известия, ускорившие его отъезд; подобное же противоречие допускает и Соловьев. Как же он мог быть в Твери 26 августа, если он пришел в Тверь только вечером 27-го августа?». Кроме того, Колосов говорит об обнаружении в изданных Устряловым письмах Петра подтверждения тому, что Петр 26 августа приехал в Тверь, и пытается сопоставив два документа с противоречивыми сведениями, «примирить их»: он показывает «кухню» своего исследования, приглашая читателя следовать за автором, описывая ход своих мыслей в определении точной даты пребывания в Твери Петра.

Рассказ «старушки» о постройке в Твери моста через Волгу Колосов называет «рассказом-легендой», цитируя подробности о биении Петром тверского головы по «лысине» со словами «Вот, говорит, коли у тебя ума нет, так я его тебе прибавлю». Колосов называет этот рассказ-легенду замечательным, отмечая, «...что вообще народное воображение немного создало подобных легенд о царе Петре — это был царь интеллигенции, а не народа; его идеалы были понятны только некоторым из образованного меньшинства... Тверская леген-

да является, таким образом, одним из редких исключений из этого правила». Уточняя даты, исторические события, подтверждая свои слова документами, Колосов большое значение придает воспоминаниям «старушки», высоко ценя «любопытные подробности». Заканчивает свой очерк Колосов утверждением, что результатами визитов Петра в Тверь явился его приказ подновить и расширить укрепления в Твери, делая при этом ссылку на «Историю России» Соловьева.

Таким образом, в работе Колосова мы наблюдаем сочетание популярного очерка с элементами научного исследования, в котором присутствует излишне скрупулезное отношение к деталям и мелким фактам, свидетельствующее о том, что его работа относится к эрудитскому типу историописания. На основании изучения одного очерка трудно сделать выводы о том, доминируют ли социальные функции над научными в полной мере. Однако можно отметить, что элементы научного дискурса, критическое отношение к источникам говорят о стремлении тверского историописателя придать своим трудам научность.

Т. Н. Попова (Одесский национальный университет)

П. М. Бицилли: личность и творчество на переломе пути

1. На протяжении последних двух десятилетий происходит институционализация **бициллиеведения** как относительно автономного, полидисциплинарного по структуре и многонационального по составу репрезентантов научного направления в гуманитаристике (Curriculum vitae. Сб. научн. тр. Вып. 2: Творчество П.М.Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета. Одесса, 2010; Попова Т. Бициллиеведение: состояние, проблемы, перспективы // «Погасло дневное светило...» Руската литературна емиграция в България 1919-1944. / Българска Академия на науките. Институт за литература. София, 2010).

Историография бициллиеведения насчитывает сотни наименований, достаточно объемный электронный ресурс и т.п. На когнитивном уровне институционализация бициллиеведения обрела на сегодняшний день достаточно четкие контуры: сложилась объектно-предметная область исследований, определилось широкое проблемное поле, сформировалась в целом источниковая база, наметились дисциплинарно/интердисциплинарные подходы к анализу творчества П.М.Бицилли, предложены первые концептуальные построения. В социальном плане институционализация нового исследовательского ландшафта сохраняет статус «невидимого колледжа»: научное сообщество бициллиеведов, в которое входят ученые из Болгарии, Германии, Израиля, России, США, Украины и других стран, по-прежнему

предстает как достаточно неконсолидированная исследовательская структура; неформальные, межличностные контакты (играющие, безусловно, важную роль в коммуникационной системе любого уровня институционализации науки) остаются преобладающими в отношениях между бициллиеведами не только в границах межгосударственных, дисциплинарных и национально-региональных, но и в исследовательском пространстве конкретных научных центров.

В этом контексте создание оперативной информационной системы представляется вполне своевременным. Интернет-сайты сегодня насчитывают сотни повторяющихся материалов, тиражирующих одни и те же ошибки, относящиеся в первую очередь к биографии П.М. Бицилли. Имя ученого достаточно некорректно используется в прениях по проблемам евразийства, национальных отношений, «украинскому вопросу», современной политической ситуации и пр. Во многом это способствует «отторжению Бицилли», в частности в украинском научном поле. Пример болгарских бициллиеведов (Русское зарубежье в Болгарии: история и современность. Автор идеи и сост. С.А.Рожков / Русский Академический Союз в Болгарии. София, 2009. С. 57) фокусирует внимание на необходимости подготовки специализированной электронной страницы «Бицилли» на украинских и российских электронных носителях. Оптимально, если этот проект будет международным.

2. Последующий анализ многогранного творчества П.М. Бицилли – полидисциплинарного по своему диапазону и интердисциплинарного в подходе к постижению исторической реальности – представителями разных областей гуманитаристики позволит со временем выйти на первый рубеж его синтетического восприятия. Детальное исследование специфики трех основных периодов творческой деятельности Бицилли – одесского (1879-1920), югославского (1920-1923) и болгарского (1924-1953) – даст возможность выявить эволюцию его научных позиций, своеобразии каждого из этапов и их особую роль в сотворении столь индивидуально неповторимой целостности как «мир Петра Михайловича Бицилли».

Югославский период в жизни Бицилли – переходный, критический, период переосмысления, концентрации ума и поисков научных ориентиров. Можно выделить ряд факторов, определивших конфигурацию творческой позиции Бицилли в это время: профессиональный рост, потребность в саморефлексии ученого и самоидентификации личности; общенаучные факторы – опосредованное влияние ведущих тенденций интеллектуального процесса: парадигмальные сдвиги в науке в целом, поиски новых теоретических ориентиров в гуманитаристике, кризис исторической науки и выдвигание на первый план проблем «исторического синтеза», интердисциплинарности, иных методологических подходов и пр.; социокультурные факторы общего порядка – революционный процесс в европейском масштабе, транс-

формация геополитической картины и др.; радикальное изменение структуры «сетевых коммуникаций» самого ученого, изменение микросоциума, привычной «среды обитания», условий работы и пр.

«Вызов» времени и обстоятельств был принят, и П.М. Биццлли предложил свой ответ. Если выделять главный историографический источник, в котором сфокусирован «синтез момента» (ключевая идея ученого в подходе к постижению истории) как проявление «духа» творческой индивидуальности Петра Михайловича, то это, бесспорно, «Очерки теории исторической науки» (1925). Именно в этой работе – важнейшей для понимания категориального профиля ученого – Биццлли наиболее полно и четко выразил свое «мировоззрение» и «мироощущение», именно текст «Очерков» позволяет высветить формирующуюся стратегию исследовательского ландшафта в годы эмиграции.

Петр Михайлович Биццлли – своей личностью, творчеством и судьбой неразрывно связал Болгарию, Россию, Сербию, Македонию и Украину. Его наследие – ученого и человека – раздвигает национальные границы: оно принадлежит всему интеллектуальному сообществу.

Н. В. Ростиславлева (РГГУ, Москва)

Вильгельм фон Гумбольдт и культура исторического познания в Германии XIX в.

Историческое познание, историческое сознание, историческая наука аккумулируют в себе прошлое и настоящее. Это касается как историко-теоретических проблем, так и смысла и функций исторического знания в обществе. В XIX в. еще можно обнаружить влияние таких элементов духовного наследия Просвещения как рационализм, теория естественного права. Историки-либералы немецкого Юго-Запада К.Ф. Шлоссер, К. фон Роттек сделали эти принципы инструментами своих познавательных практик. Но не они определяли общий вектор развития исторического знания Германии XIX в., которое было уже крепко связано с понятием «историзм».

Как следует обозначить отношение этого понятия к предшествующему Просвещению? Генезис историзма безусловно связан с разочарованием в идеях Просвещения, которые были дискредитированы Французской революцией и порядками державы Наполеона. Это наиболее распространенное объяснение появления этого феномена. С другой стороны, именно в эпоху Просвещения началось формирование истории как науки, рождается термин «философия истории». Просвещение произвело переворот в культуре, во всех сферах жизни, затронуло оно и историю. Немецкий историк В. Хардтвиг полагает, что уже «с середины XVIII века идет процесс постепенного перехода к всеобъемлющей историзации мира и человека» (Hardtwig W. Geschichtskultur

und Wissenschaft. München, 1990. S. 28). По его мнению, это вело к тому, что исторический взгляд стал определять культуру научного и духовного познания, события подчинились сквозному развитию народа и государства, а идея прогресса способствовала утверждению мысли об уникальности и индивидуальности каждого исторического факта.

В Германии становление историзма и критического метода, который является его основой, связано с творчеством Б.Г. Нибура и Л. фон Ранке. Такой же подход к познанию истории можно обнаружить в посвященных истории разработках В. фон Гумбольдта, который в статье «О задаче историка» (1821 г.), делал акцент на естественную данность или традицию. В более ранних работах «Размышления о всемирной истории» (1814 г.), «Размышления о движущих причинах всемирной истории» (1818 г.) он признавал идею прогресса исторического развития и, рассматривая вслед за Кантом и Гердером человечество как часть природы, считал самым важным в понимании всемирной истории наблюдать за продвижением, преобразованием, а подчас и гибелью духа человечества, призывал не абсолютизировать роль разума в развитии человечества. Ученый предлагал обратить внимание на возможности «индивидуальных форм», воспитания и «на неуклонное следование отдельными народами однажды избранным ими путем» (Гумбольдт В. фон. Размышления о всемирной истории // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 285).

По мнению Гумбольдта, историк может работать как художник, обращаясь к фантазии, но, подчиняя ее опытным данным и согласовывая с законами духа идеи, которые отражают действительность, используя интуицию, чтобы постигнуть то, что факты не открывают. Понимание людей, человечность историка помогают ему достичь истины.

Э. Трельч считал, что В. Гумбольдт не порвал с тотальностью разума, а ввел в его понятие «большое количество эмпирических элементов» (Трельч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994. С. 113), и видел в этом проявление влияния великой немецкой поэзии и послекантовской философии.

В творчестве В. Гумбольдта, который был также и политиком-реформатором, обнаруживается стремление проводить реформы, опираясь на опыт, но и некий элемент разрыва, определяемый разумом, в его реформаторстве присутствовал.

Э. Трельч рассматривал Гумбольдта в контексте связи между историей и теорией ценностей и утверждал, что именно благодаря этическому осмыслению прошлого его имя было вписано в палитру историографических исследований. Интерпретацией истории как теории ценностей занималась в начале XX в. в Германии баденская школа неокантианства во главе с В. Виндельбаном.

Гумбольдт как историк, безусловно, не может затмить величия исторического гения Л. фон Ранке. Впервые исторические представле-

ния Гумбольдта были проанализированы Г. Гервинусом в 1837 г., в 1868 г. к ним обращался И.Г. Дройзен, Р. Гайм рассматривал их в рамках общей философии Гумбольдта, а Э. Шпрангер – в контексте его политической философии, эстетики, философии языка. Ф. Гуденберг полагал необходимым выяснить, какое место занимает доклад «О задаче историка» в общефилософской концепции Гумбольдта (Gutenberg V. Die Grundbegriffe der Historik im Humboldt Reden über die Aufgabe des Geschichtsschreibers: Inaug.-Diss. der Doktorwürde vorgelegt der Philos. Fakultät der Georgia Augusta Univ. Göttingen, 1922), и утверждал, что метафизические основания Историка являются частью его философии языка. Действительно, в этой работе Гумбольдт писал: «Но существуют и такие идеальные формы, которые, не воплощаясь в человеческую индивидуальность, воздействуют на нее лишь косвенно. К ним относятся языки. Ибо хотя в каждом языке отражается дух нации, каждый из них имеет и более раннюю, независимую основу, [...] и каждый имеющий значение язык выступает как своеобразная форма создания и сообщения идей». А поскольку вся история по Гумбольдту «является лишь осуществлением идеи» (Гумбольдт В. фон. О задаче историка // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. С. 305), то роль языка в познании истории существенна. Именно в контексте языка им была поставлена проблема индивидуального и всеобщего в истории.

Гумбольдт с точки зрения логики развития исторического познания был одной из центральных фигур исторического сообщества Германии, поскольку именно его творчество являет собой яркий пример преемственности исторического знания с принципами Просвещения и предощущения вызовов субъективизма начала XX в. На основе философии языка ученый смоделировал опирающийся на традицию алгоритм познания прошлого, который являлся своеобразным моментом связи исторического познания в Германии на протяжении «долгого» XIX в.

М. Ф. Румянцева (РГГУ, Москва)

Был ли А.С. Лаппо-Данилевский неокантианцем?

Устойчивое стремление, отличающее, в первую очередь, философов, – классифицировать / систематизировать философские концепции и обязательно приписать изучаемого автора к какому-нибудь направлению, на мой взгляд, чаще не оправдано, чем оправдано, а встречающиеся в работах по истории философии «обвинения» того или иного философа в эклектизме, как правило, свидетельствуют о его неместимости в прокрустово ложе классификаций, а часто – и об оригинальности его концепции. К таким оригинальным авторам, несомненно, относится русский историк, методолог Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863-1919), хотя его и не обвиняют в эклектизме, а устойчиво относят к неокантианцам.

Но был ли Лаппо-Данилевский неокантианцем? Поставить этот вопрос, который в течение столетия имел вполне однозначный ответ, заставила меня высказанная О.М. Медушевской мысль о том, что в актуальном историческом знании идет противоборство двух парадигм, одна из которых «идентифицирует себя с философией уникальности и идиографичности исторического знания, исключающего перспективу поиска закономерности и видящего организующий момент такого знания в ценностном выборе историка как познающего субъекта», а другая – «парадигма истории как строгой науки, стремящаяся выработать совместно с науками о природе и науками о жизни общие критерии системности, точности и доказательности нового знания» (Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. С. 15-16). Вполне очевидно, что в основе первой парадигмы неокантианство Фрейбургской (Баденской) школы, а в основе второй – теоретико-методологическая концепция исторического познания, разработанная неокантианцем Лаппо-Данилевским. Каким же образом эти две неокантианские традиции могли в течение XX в. разойтись до такой степени, что стало возможным говорить об их противоборстве?

Для разрешения этого парадокса необходимо ответить на вопросы: (1) в чем суть неокантианской парадигмы исторического познания, (2) в чем специфика концепции Лаппо-Данилевского, (3) сколь эта концепция оригинальна.

Говоря о сути неокантианства применительно к историческому познанию, мы, естественно, в первую очередь обращаемся к Баденской школе (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), наиболее подробно разработавшей проблему специфики исторического познания. Выделим лишь один аспект.

Критикуя Вундта, Мюнстерберга, Дильтея и других авторов, противопоставлявших науки о духе наукам о природе, Риккерт вскрывает основную методологическую проблему – неопределимость объекта наук о духе: «что же касается понятия духа, то дать логическое определение его либо совершенно невозможно, либо, во всяком случае, возможно лишь тогда, когда предварительно уже имеется логическое понятие истории (Риккерт Г. Философия истории // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. С. 138-139). Риккерт решительно отказывается размышлять об объекте исторического познания и сосредотачивает свое внимание на логике исторической науки, определяя ее как идиографическую в отличие от номотетической логики естественнонаучного знания.

Напротив, в концепции Лаппо-Данилевского базовое значение имеет теория объекта исторического познания – исторического источника. Специальной разработке методологии источниковедения посвящена значительная часть его «Методологии истории» (Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2 т. М., 2010. Т. 2. С. 19-

394). Следует подчеркнуть, что часто встречающееся утверждение, что концепция Лаппо-Данилевский – это концепция источниковедения, в корне не верно. Лаппо-Данилевский разработал не концепцию источниковедения, а источниковедческую концепцию методологии истории, что принципиально важно.

Таким образом, теоретико-познавательная концепция Лаппо-Данилевского по своим основаниям отличается от построений баденских неокантианцев.

Насколько оригинальна источниковедческая теоретико-познавательная концепция Лаппо-Данилевского? Для решения этого вопроса необходимо соотнести ее не с неокантианством Баденской школы, а с русской версией неокантианства, возникшего вне зависимости от германского, но как оригинальная рецепция философии Канта (См., например: Столович Л.Н. История русской философии: Очерки. М., 2005. С. 285).

Признанным основоположником неокантианства в России является Александр Иванович Введенский (1856-1925). Философ-неокантианец, историк русской философии Б.В. Яковенко характеризует Введенского как «самого близкого к Канту и в этом смысле самого ортодоксального критициста в России» и пишет: «Несмотря на то, что он принадлежал к поколению философов, провозгласивших лозунг "Назад к Канту", известное как *неокантианство*, его философское мировоззрение нельзя считать простым эпигонством: вопервых, оно было самостоятельно продумано, и, во-вторых, его отдельные составные части отличались подлинной оригинальностью» (Яковенко Б.В. История русской философии. М., 2003. С. 284).

Не ставя задачу систематически воспроизвести концепцию Введенского, обращу внимание лишь на один ее аспект – специальную разработку принципа «признания чужой одушевленности» (Введенский А.И. О пределах и признаках одушевления: Новый психофизиологический закон в связи с вопросом о возможности метафизики. СПб., 1892; См. также: Румянцева М.Ф. Концепт «признание чужой одушевленности» в русской версии неокантианства // *Cogito* : альманах истории идей. Ростов н/Д, 2007. Вып. 2. С. 35-54). Разработка этого принципа привела Введенского к утверждению, что «... наблюдать саму чужую душевную жизнь мы не можем, а должны лишь заключать об ней по ее внешним, материальным, то есть, объективным обнаружениям» (Введенский А.И. Указ. соч. С. 7). В этой части построения Введенского соотносимы с концепцией В. Дильтея, который предлагал при решении задач описательной психологии соотноситься с «предметными продуктами психической жизни» (Дильтея В. Описательная психология. СПб., 1996. С. 99).

Принцип «признания чужой одушевленности» является системообразующим и для методологии истории Лаппо-Данилевского, а идея Введенского о «материальных явлениях», которые «служат при-

знаком, обнаруживающим присутствие душевной жизни», переработана Лаппо-Данилевским в систематическое учение об исторических источниках как эмпирической основе исторического познания.

Именно фиксация в концепции Лаппо-Данилевского исторического источника в качестве эмпирической основы исторического познания и позволила О.М. Медушевской рассматривать его концепцию как основание парадигмы истории как строгой науки в отличие от нарративной логики исторического познания, восходящей к баденскому неокантианству.

Итак, можно сказать, что Лаппо-Данилевский был неокантианцем, но в русской версии рецепции философии Канта. При этом, концепция Лаппо-Данилевского в значительной мере оригинальна и имеет существенную феноменологическую составляющую, в частности, в понимании природы познания и конструировании понятия исторический источник. Но эта проблема требует специального исследования.

А. В. Свешников (Омский ГУ)

Социальный статус и жизненные стратегии «дореволюционных аспирантов»*

Основным фактором, обеспечивающим определенную динамику и социальную мобильность профессионального сообщества университетских преподавателей, был институт подготовки новых кадров, реализуемый через системы оставления выпускников университета при кафедрах «для приготовления к профессорскому званию». Общий анализ институционально-правового и социально-политического аспекта этой системы проведен в работах Т. Мауер, С. Кассоу, А.Е. Иванова, Г.И. Щетининой, А.Н. Якушева. Однако при этом «жизненный мир» и связанные с ним стратегии поведения оставленных при кафедре не привлекали внимания исследователей.

Нормативной основой, регулирующей положение оставленных при кафедре был университетский Устав 1884 г., действовавший фактически до февраля 1917 г., хотя Министерство народного просвещения регулярно корректировало и детализировало свои требования различными циркулярами, инструкциями и прочими нормативными актами. Формально основной причиной для «ужесточения» требований к «оставленным при кафедре» было низкое количество защит и, соответственно, большее количество остающихся вакантными кафедр в университетах.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и образования РФ в рамках Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.", государственный контракт 02.740.11.0350.

По большому счету, перед оставленным на кафедре стояли две основные задачи – сдать магистерские экзамены и написать (а в идеале и защитить) магистерскую диссертацию, предварительно собрав для этого материал.

Формально магистерских экзамена было три – один основной и два дополнительных. Но, например, историкам-всеобщникам приходилось сдавать три экзамена по всеобщей истории (отдельно древность, средние века и новое время), русскую историю и политэкономии. Общей программы экзамена не существовала. Для каждого соискателя разрабатывалась им лично индивидуальная программа после консультации с профессором, принимавшим этот экзамен. Программа состояла из списка вопросов, выносимых на экзамен, и списка рекомендованной научной литературы, которую должен был проработать соискатель в ходе подготовки к экзамену. В среднем на подготовку и сдачу экзамена уходило около двух лет. Далеко не все оставленные при кафедре «выходили» на сдачу экзамена. На экзамене неудовлетворительные оценки случались, но это было исключением.

После сдачи экзамена у соискателя появлялась возможность претендовать на заграничную командировку за казенный счет и на преподавание в университете в качестве приват-доцента. Во втором случае ему необходимо было прочитать еще две «пробные лекции», тему для одной из которых определял факультет, для второй он выбирал сам. Статистика показывает, что большинство соискателей использовали обе предоставленные возможности.

Значение перехода соискателей в статус приват-доцента оценивалось современниками далеко не однозначно. С одной стороны, это давало университету возможность привлечения новых кадров и разнообразия учебных планов, а самим соискателям – возможность заработка. Но, с другой стороны, заработок был явно недостаточным, а преподавание, по мнению, например, С.А. Жебелева, серьезно отвлекало от работы над магистерской диссертацией. В итоге время подготовки диссертации действительно затягивалось.

Обусловленное уставом формальное положение определяло и неформальные «жизненные стратегии» оставленных при кафедре. При всей сложности и многообразии набора подобных стратегий можно выделить некоторые тенденции.

Во-первых, последовательную ориентацию «оставленных при кафедре» на науку и преподавание, а не на, например, чиновничью службу в министерстве и прочих государственных ведомствах. Были, конечно, исключения, но их немного. Хотя, при этом следует иметь в виду, что университетский профессор считался государственным служащим по ведомству Министерства народного просвещения.

Во-вторых, необходимость поиска средств к существованию как для тех, кто получал министерскую стипендию, так и для тех, кто ее не получал (казенной стипендии явно не хватало на жизнь), часто вела к преподаванию в различных учебных заведениях (гимназиях, училищах и т.д.) В результате многие впоследствии переходили на учительскую стезю.

В-третьих, сама институциональная форма оставления и пребывания при кафедре обуславливала обязательную тесную связь «оставленного при кафедре» со своим научным руководителем. Молодой ученый сильно зависел от своего наставника. В частности, научный руководитель должен был утверждать отчеты своего подопечного за очередной период пребывания при кафедре или обосновывать необходимость заграничной командировки. И в этом плане можно сказать, что сам механизм подготовки молодых научных и преподавательских кадров провоцировал генезис таких неформальных структур научного сообщества как научные школы.

В-четвертых, для многих молодых ученых весьма актуальной оказалась возможность перевода из столичного в провинциальный (Новороссийский, Варшавский, Казанский и др.) университет. Подобный перевод рассматривался как фактор продолжения карьеры в условиях некой «стагнации» профессорского корпуса. Продвижение по карьерной лестнице в столицах было сильно затруднено. Многие молодые ученые воспользовались подобной возможностью. Именно они составляли наиболее мобильную часть профессорско-преподавательского корпуса российских университетов. Было движение и в противоположном направлении, правда, не такое массовое.

Таким образом, незафиксированные в нормативных документах, но в определенной степени вытекавшие из них стратегии поведения «оставленных при кафедре» превращались в некую неформальную устойчивую традицию, во многом определявшую их судьбу и часто вступающую в противоречие с целями и принципами, декларированными в нормативных актах.

Н. А. Селунская (ИВИ РАН, Москва)

Век Вольпе: историк и эпоха

Общий проект, в русле которого запланировано данное выступление, посвящен изучению интеллектуальной среды и связям интеллектуальных сообществ нового времени и преодолению некоторых стереотипов описания и изучения культурной интеллектуальной среды и моды. Здесь имеются в виду как стереотипы, которые неизбежно и невольно создают исследователи, так и совершенно восхити-

тельные, неуправляемые в своем стремлении воплотиться в реальность мифы, созданные упорным трудом интеллектуалов нового времени.

Мифотворчество позитивизма, его причудливая эволюция от либерального марксизма к фашизму рассматривается на примере научной и общественной жизни историка Джоаккино Вольпе (Volpe, 1876-1971), автора работ по итальянскому Средневековью и эпохе Рисорджименто.

Творчество Вольпе анализируется в контексте либерального марксизма начала XX в. в Италии, прежде всего – итальянской школы юридических и экономических исследований, возникшей на рубеже XIX–XX вв., а затем в системе отношений: власть – интеллектуалы периода распространения фашистской идеологии.

Вольпе интересует нас как личность, не только вписанная в контекст развития идеологии и науки периода идейного влияния итальянских позитивистов (Crivellucci), либерльных интерпретаций марксизма (Loria, Labriola) или, затем, господства фашизма, с неизбежными трансформациями научных школ и тем исследования, но и как актер эпохи, задавший несколько перспектив развития итальянской исторической науки и шире – культуры.

Нас интересует феномен личности и ее влияния. Прежде всего, требует объяснения континуитет этого влияния в итальянской культуре и исторической науке. Вопросом изучения является не только то, что можно буквально вычитать о Вольпе, но именно те аспекты, которые маргинализируются, замалчиваются, выносятся за скобки, при том что исторических данных, необходимых для отражения этих аспектов, достаточно.

При значительном интересе современной исторической науки к биографиям кажется невероятным, что до сих пор не проанализирована как проблема описание личности, память о которой не имеет цезуры, а представляет собой почти непрерывный поток свидетельств без всякого зазора с настоящим. Редкий случай – человек науки и общественный деятель, сторонник проигравшего режима никогда не был забыт или недооценен современниками и ближайшими потомками, его труды и память о нем не подверглись damnation, несмотря на идеологические сложности эпохи, несмотря на продолжительность жизни и творчества в этом непростом контексте.

Таков историк и деятель культуры Вольпе, проживший долгую – 95 лет – жизнь, за которую в Италии успели несколько раз смениться мода, вкусы, политические режимы. Это человек, о котором нам известно очень много – от записи при крещении и писем к жене до энциклопедических статей, монографий, газетных публикаций.

Автора проекта привлекает и обстоятельство, что Вольпе, политически и социально ангажированный персонаж, не был забыт с изменением идеологического климата; модный и актуальный автор

вполне определенных десятилетий не остался в «своем» времени, но продолжал существовать в интеллектуальной традиции и даже экспортировался в иноязычные культурные среды, например, почитался среди советских итальянистов.

История интеллектуальной жизни может быть понята как история изменений функций и институций по производству символической продукции и самой структуры этой продукции, что соотносится с постепенным становлением интеллектуального и художественного поля, т.е. как история автономизации собственно культурных отношений производства, обращения и потребления (П. Бурдьё).

Одной из важнейших тем в этом производстве, по крайней мере с начала нового времени, является воспроизводство символических ценностей, связанных с тем или иным мифом национальной истории.

В особенно любопытных случаях речь идет о такой символической продукции и самой структуре воспроизводства этого символического мифологизированного капитала, которые принимали формы «научного» дискурса, понятийного языка позитивизма или некоторых более-менее либеральных разновидностей марксизма. Так можно охарактеризовать и ситуацию, сложившуюся приблизительно сто лет назад в Италии.

Ключевую роль в национальной историографии этого времени играли вопросы средневекового периода, прежде всего вопрос об общине (коммуне) как основе общественного развития итальянских земель, а также тренд экономико-юридических исследований, видным представителем которого был Дж. Вольпе.

Невозможно переоценить роль и влияние данной школы историографии – как сообщества интеллектуалов, как определителя образа исторической науки, как влиятельного института в том смысле слова, который используется творцами теории зависимости пути (path dependence), ибо воздействие этой интеллектуальной группы на развитие исторических исследований, и не только в Италии, продолжалось вплоть до начала 1980-х гг.

При этом мы будем исходить из сформулированного также Бурдьё положения, что «в отличие от поля массового производства, которое подчиняется закону конкурентной борьбы за завоевание как можно более обширного рынка, поле ограниченного производства стремится самостоятельно создавать свои нормы производства и критерии оценки своей продукции, оно подчиняется закону конкурентной борьбы за чисто культурное признание со стороны коллег, являющихся одновременно клиентами и конкурентами».

Именно такими характеристиками обладала группа интеллектуалов или «историографическая школа», к которой принадлежал Вольпе. Однако в дальнейшем именно имя Вольпе на определенное время затмило всю плеяду ученых, с которыми он находился прежде в творческом диалоге, но не перестало ассоциироваться с этой уже как будто чуждой Вольпе средой.

Что касается собственно исторической тематики и направленности исследований, которые унаследовал Вольпе от историков, открывших возможности поиска в правовых источниках решения экономических и социальных проблем, то здесь можно отметить несколько важных, хоть и противоречивых взаимосвязей.

С одной стороны, понимание коммуны как особой силы, актора истории вошло в научный и околонучный дискурс именно благодаря трудам рубежа веков, созданным относительно либеральными интерпретаторами марксизма. С другой стороны, в отличие от историографии собственно националистического характера фашистского периода (с присущей ей медиевализмом: извечный характер коммуны как предтечи общегосударственной фашистской общины), либеральная историография, представленная поколением Вольпе и Каджезе, не наделяла (иначе, чем в духе осознанного сравнения) антропоморфными характеристиками нацию и даже не допускала натурализации, антропоморфизма в описании таких категорий как классы и коммуны.

С концом фашистской идеологии работы Вольпе, ассоциирующиеся с интеллектуальной поддержкой режима, не были отвергнуты, отчасти – поскольку они обладали вполне самостоятельным контентом, отчасти – потому, что сразу после краха фашизма Вольпе вернулся к истории средневековья, и эта тема вызывала интерес в послевоенной Италии.

Л. А. Сыченкова (Казанский Федеральный университет)

Фёдор Шмит: учителя, ученики, последователи

Фёдор Иванович Шмит (1877-1937) – историк широкого профиля, изучавший проблемы античности, византиноведения, истории отечественного искусства от древности до новейшего времени, автор оригинальной теории циклического развития искусства, принадлежал к плеяде русских ученых, расцвет которых пришелся на эпоху русских революций и первых послереволюционных десятилетий: 1905-1934 гг.

Среди учителей Шмита были именитые А.В. Прахов, Ф.И. Успенский, П.В. Никитин, Д.В. Айналов. Были среди них и те, кого он считал наставниками «по духу». В этом ряду, кроме Прахова, следует назвать русского дипломата, коллекционера, ценителя античной древности А.И. Нелидова, лингвиста и культуролога Н.Я. Марра. Учителя не только сумели «зажечь в душе» Шмита любовь к науке, но и принимали деятельное участие в его судьбе. Прахов помог избежать военной службы. Никитин пристроил его к послу в Италии А.И. Нелидову, который, в свою очередь, научил неискушенного юношу дипломатии поведения в академических кругах. Шмит благодаря участию Нелидова получил заветное место ученого секретаря Русского археологического института в Константинополе у Ф.И. Успенского.

Школа Успенского была жесткой, но сделала Шмита ученым. Успенский сразу же определил тему – комплекс памятников мечети Кахриэ-Джами. Эта работа стала для Шмита трудным испытанием, но результаты исследования сделали ему имя в науке. С момента публикации книги о Кахриэ-Джами (1906) Шмит прочно занял место в мировом византиноведении. Подлинной научной школой для Шмита стала работа в Константинополе, в процессе которой он познакомился со многими европейскими учеными, появились его первые публикации за рубежом. В это время у Шмита возникла идея определить общую логику развития искусства, ради которой он отказался от почти готовой докторской диссертации по «Византийской монументальной живописи».

Первые трудности в кругу российской профессуры были связаны с немецким происхождением Шмита. Не секрет, что многие русские византилисты, в том числе Ф.И. Успенский, Д.В. Айналов, С.А. Жебелев и другие, были «русософилами», а Н.П. Кондаков известен своей «германофобией». В 1925 году Жебелев с едкой иронией писал Кондакову в Прагу: «У нас появилось новое светило – Ф.И. Шмит, тот, кто писал о Кахриэ-Джами. Быстрок невероятный и, должно быть, бросил совсем заниматься наукою. Все изыскивает новые методы, или, как у нас теперь говорят, "подходы". Недавно читал доклад о греческом искусстве, к которому, как он выразился, нужно придумывать какую-нибудь этикетку». Подтекст письма – столкновение двух научных подходов, существовавших в российской историографии: традиционного, представители которого испытывали глубинную антипатию к любым обобщениям, и нарождающейся в России методологической школы.

Школа Шмита внесла значительный вклад в науку, его ученики сохранили дух новаторства, несмотря на все испытания. Ученики расстрелянного в 1937 г. Шмита, сами не избежавшие репрессий, скрывали принадлежность к его школе, поэтому о ней до сих пор не написано. Ученики появлялись в разных городах, где преподавал Шмит: в Киеве, Харькове, Москве, Ленинграде. Шмит притягивал людей своей эрудицией, яркими идеями, глубокими знаниями, любовью к предмету исследования. По отзывам С.А. Таранущенко, «патрон», как его называли в своем кругу, «был идеальным руководителем своих учеников, уделял им много времени, заботился о них, но никогда не навязывал тем». В этой связи показателен пример В.М. Богословского, который до 1923 г. успешно учился в Чернигове на физико-математическом факультете, но, прочитав книгу Ф.И. Шмита «Искусство: его психология, его стилистика, его эволюция» (Харьков, 1919), ушел с третьего курса и переехал в Киев. «Я сразу убедился в том, что Ф.И. Шмит гениальный ученый, – писал Богословский, – сделавший величайшее открытие законов художественного развития человечества».

Ученики занимались разными направлениями. Крупнейшим византинистом, специалистом по истории византийского права стала Е.Э. Липшиц (1901-1990). Киевский студент Шмита – А.А. Альшванг (1898-1960) стал известным музыковедом, доктором искусствоведения (1944). В.М. Зуммер (1885-1970), также получивший докторскую степень, стоял у истоков ориенталистического направления в украинском искусствоведении, работая в Азербайджане и в Харькове. М.И. Вязьмитина (1896-1994), занималась археологией скифов и сарматов, возглавляя отделы искусства Востока в музеях Киева и Харькова. М.А. Новицкая изучала декоративное искусство Древней Руси. Новую область этнического искусствоведения на материале осетинской техники вышивания открыла К.А. Берладина. Исследователем искусства средневековой Армении стала Л.А. Дурново (1885-1963). Б.С. Бутник-Севицкий, разрабатывавший в 1920-30-е гг. под руководством Шмита проблемы художественного мышления детей, в 1960-е гг. на Украине занимался изучением истории советского плаката. Последователи Шмита в изучении древнерусского искусства С.А. Тарнущенко и Д.П. Гордеев, отсидев в лагерях, также сменили научное направление: Тарнущенко исследовал украинское средневековое искусство и архитектуру; Гордеев стал известен как крупный кавказовед и византинист, специалист по искусству Ближнего Востока и грузинского средневековья. Продолжателями дела Шмита в области музейной теории и практики стали С.С. Гейченко (1903-1993), директор Пушкинского заповедника (1945-1989), и его коллега А. Шеманский. Они разрабатывали метод тематического показа в музее и театрализованных музейных экспозиций.

Отметим особенности школы Шмита. 1. У нее был признанный научный лидер. 2. На этапе формирования (1910 – начало 1930-х) у нее не было единого географического центра. «Аудитория слушателей» перемещалась вместе с учителем: из Киева в Харьков, Москву, затем в Ленинград, в места проведения экспедиций: Крым, Кавказ, республики Средней Азии. 3. Методологические принципы предусматривали непосредственное изучение памятника. Синтетическая методология искусствоведения была отражена в концепции Шмита и изложена в его трудах. 4. Практически никто из его учеников не стал продолжать главное дело учителя – развивать его теорию. На тему «циклической концепции» было наложено «табу». Выбор учениками Шмита для исследования конкретных проблем и прикладного искусствоведения и музееведения был обусловлен комплексом причин. Почва для «междисциплинарного синтеза», на который выходил Шмит, была к этому времени «размыта», а «ростки» новой методологии уничтожены. Несмотря на то, что среди учеников Шмита не оказалось прямых последователей, развивавших его главную теорию, его продолжателем можно считать московского искусствоведа

Р.Б. Климова (1928-2000). В начале 1970-х годов Климов самостоятельно разработал «теорию стадийного развития искусства», что говорит о предвосхищении Шмитом этого направления.

Смелыми замыслами Федор Шмит опередил свое время, а эпоха определила трагизм его судьбы, забвение научных открытий. Однако идеи Шмита и через столетие готовы дать импульс развитию гуманитаристики.

Д. А. Цыганков (МГУ, Москва)

Р. Ю. Виппер и его путь в советскую историческую науку

Одна из проблем гуманитарного знания в России – отношение к наследию советской исторической науки, формирование и развитие которой было сложным. В это исследовательское поле органично входит тема влияния дореволюционных научных школ на формирование советской науки, особенно в 1930–1950-е гг., когда после возрождения исторических факультетов вузов была предпринята попытка воспитания советского человека с помощью традиционных патриотических ценностей, преломленных, правда, классовым сознанием и большевистской идеологией. Определенную роль в создании истории как нового вида знания в СССР сыграли дореволюционные ученые, чей опыт в этот период был востребован (См.: Гришина Н.В. Историки «старой школы»: проблемы вживания в советскую действительность // Историк в меняющемся пространстве российской культуры. Челябинск, 2006. С. 51-58.). Процесс вхождения дореволюционных историков в поле идеологизированной советской науки в целом освещен в современной историографии (Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов) М., 2004; Дубровский А.М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск, 2005; Историк в меняющемся пространстве... (статьи А.Б. Цфасмана, П.С. Александрова, В.П. Корзун и Д.М. Колеватова, В.А. Токарева и др.); Сидорова Л.А. Советская историческая наука середины XX века: синтез трех поколений историков. М., 2008). Но более детальное изучение биографий дореволюционных историков, преподававших в советских университетах, позволяет внести новые штрихи в их коллективный портрет.

Одним из таких историков, оказавшихся в СССР эпохи И.В. Сталина, был Роберт Юрьевич Виппер (1859-1954). Карьера Виппера была удачной (Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время. М., 1976; Володихин Д.М. «Очень старый академик». Оригинальная философия истории Р.Ю. Виппера. М., 1997; Георгиев П.В., Чиглинцев Е.А. Российские историки в по-

исках политического идеала: В.П. Бузескул и Р.Ю. Виппер об афинской демократии // Мир историка: Историографический сборник. Омск, 2006. Вып. 2. С. 316-325; Голубцова Е.С. Роберт Юрьевич Виппер // Портреты историков. Время и судьбы. М., 2000. Т. 2. Всеобщая история. С. 7-15). Выходец из непривилегированного сословия, потомок небогатых, но деловитых иностранных предпринимателей в России, он стал первым отпрыском в семье, сделавшим профессорскую карьеру (продолженную его сыном Б.Р. Виппером, крупным советским искусствоведом). Педагогическая и научная карьера Виппера развивалась по нарастающей: профессор в Новороссийском университете в Одессе (1894-1897), один из трех профессоров в Московском университете (с 1899), ведущий профессор университета в эпоху между двумя революциями. И хотя Первая мировая война и ее последствия вызвали у Виппера духовный кризис, он смог найти себя и в новых условиях. Спасаясь от революции, Виппер эмигрировал в Латвию и продолжил преподавание. Этот период жизни практически не находит отражения в литературе. Между тем, он едва ли не определяющий в эволюции духовного мира историка. Присоединение Прибалтики к СССР привело его к возвращению на Родину, где научные достижения ученого были высоко оценены: бывший профессор Императорского Московского университета стал советским академиком (1943), хотя и оставался под пристальным идеологическим контролем.

Позволяют ли данные биографии, общее количество трудов историка, исчисляемое сотней наименований (Список научных трудов академика Р.Ю. Виппера по древней истории // Вестник древней истории. 1955. № 2; Список трудов Р.Ю. Виппера, имеющих философскую направленность (философия и методология истории, культурология, социология и религиоведение) // Володихин Д.М. Указ. соч.), говорить о безболезненном существовании ученого-гуманитария в условиях «монархической России», «демократической Латвии», «тоталитарной России»? Русский интеллигент, тонко чувствующий человека в истории исследователь (Виппер Р.Ю. Две интеллигенции и другие очерки: сборник статей и публикация лекций. 1900-1912. М., 1912), Виппер, будучи втянутым в разрушительные конфликты эпохи, не мог не испытывать сложных чувств. Что же позволяло ему служить истории и сделать успешную карьеру в совершенно разных условиях?

Однозначный ответ на этот вопрос невозможен, поскольку в научный оборот практически не введены источники послереволюционного и советского этапов жизни историка. Практически единственный способ, позволяющий реконструировать нравственно-мировоззренческие установки Виппера, – это дореволюционные материалы личного происхождения (Письма Р.Ю. Виппера к его учителю В.И. Герье // Цыганков Д.А. Профессор В.И. Герье и его ученики. М., 2010. С. 319-349).

Безусловно, Виппер принадлежал к либеральному студенчеству Московского университета, желавшему улучшить, просветить, облагородить общество. Он стремился к служению студентам, к чистой науке без примеси политики. Виппер выделялся в сообществе российских историков-всеобщников. Он отрицал реальное существование всеобщей истории как единого однонаправленного процесса. Всеобщую историю Виппер рассматривал как своего рода педагогическую дисциплину, которая позволяет проводить интеллектуальный эксперимент с большим объемом фактических данных (Володихин Д.М. Критика теории прогресса в трудах Р.Ю. Виппера // Вопросы истории. 1999. № 2). Его отличали последовательный антиклерикализм (труды с критикой раннего христианства были востребованы в СССР) и все более усиливающаяся (особенно под влиянием Первой мировой войны) тяга к сильным, если не тоталитарным личностям в истории (Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1922). Возможно, именно это сделало Виппера лояльным к советской власти, тем более что на Родине престарелый профессор встретил восторженный прием московского студенчества и симпатию со стороны влиятельных политиков.

Советская наука в лице Виппера получила образец историка, человека с дореволюционным академическим прошлым. Как следствие, советская история исторической науки вынуждена была в процессе своего самоописания учитывать фактор влияния на нее дореволюционных историков. Конечно, историки исторической науки в СССР считали либеральных дореволюционных профессоров тупиковой ветвью в эволюции историков-марксистов (интуитивно марксисты, но еще не овладели методом исторического материализма; Виппер не был «законченным марксистом» – так определяется его положение в историографических работах: Голубцова Е.С. Указ. соч. С. 13). Однако стоит ли воспроизводить в настоящее время подобные оценки? А если не воспроизводить, то нет ответа на вопросы: какая связь между либеральной концепцией всеобщей истории московских историков, ведущих свою родословную от Т.Н. Грановского, и марксистской пятичленной схемой теории формаций? Почему именно либеральные историки дореволюционной России стали одной из сил, которая формировала советский патриотизм и его нравственные ценности?